

Per. A-1169
-442



TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893. a. VIHİK 442 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

СЕМАНТИКА НОМИНАЦИИ И СЕМИОТИКА УСТНОЙ РЕЧИ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА И СЕМИОТИКА I



ТАРТУ 1978

Рр. 2-1169-442

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893. а. VIHİK 442 * ВЫПУСК ОСНОВАНЫ В 1893 г.

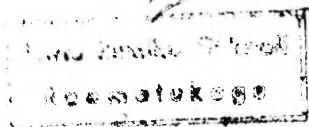
СЕМАНТИКА НОМИНАЦИИ И СЕМИОТИКА УСТНОЙ РЕЧИ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА И СЕМИОТИКА I

ТАРТУ 1978

Редакционная коллегия:

Б. М. Гаспаров, А. Д. Дуличенко, М. А. Шелякин (отв. редактор)



О СЕМАНТИКЕ И УПОТРЕБЛЕНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

М. А. Шелякин

I

Несмотря на большую литературу по названному вопросу [см. 4], содержащую много тонких наблюдений над семантическими особенностями частиц *-нибудь*, *-то*, *кое-* в составе неопределенных местоимений, а также местоимений *некто*, *нечто*, остается все же не раскрытой связь между значениями данных местоимений и их употреблением в разных синтаксических (контекстуальных) условиях. Прежде всего это касается местоимений с *-нибудь*, истолкование которого так или иначе влияет на определение семантики других неопределенных местоимений. Так, стало обычным считать, что местоимения с *-нибудь* являются самыми «неопределенными» и семантически самыми широкими: см., например, таблицу Л. Я. Маловицкого [4, 79], в которой местоимения *кто/что-нибудь* характеризуются как нейтральные ко всем выделенным признакам (известность адресанту — адресату, реальность), за исключением признака «расчлененность», который может быть выражен и соответствующими местоимениями с *кое-*; см. также в учебнике для студентов-иностранцев: «Местоимения с частицей *-нибудь* (или с частицей *-либо*) употребляются тогда, когда речь идет о совершенно неопределенном лице или предмете, т. е. о лице или предмете, который является неопределенным как для говорящего, так и для других» [5, 170], подобную дефиницию дает Ю. И. Левин: «Для этих местоимений характерна максимальная степень неопределенности; выделяемый элемент X не только неизвестен и отправителю, и получателю, но и (в момент сообщения) не фиксирован в M даже в принципе» [3, 117]. Одновременно утверждается, что местоимения с *-нибудь* функционируют в довольно ограниченных случаях, тяготея к определенным контекстам и конструкциям, а именно: в повествовательных предложениях с модальными словами или

со значением повторяющихся (постоянных) действий, в условных, побудительных и вопросительных предложениях, придаточных цели и некоторых др. [см. 2].

Естественно напрашивается вопрос, какая существует связь между значением максимальной неопределенности и перечисленными условиями его реализации и вообще где проходит граница между той или иной степенью неопределенности, выражаемой неопределенными местоимениями? Если эта граница касается признака известности/неизвестности предмета для говорящего, то, например, во фразе «Каждый день *кто-нибудь* из нас ходил на почту» говорящий определенно знает состав «мы» и кто ходил, что обычно раскрывается предыдущим или последующим контекстом. Если эта граница проходит в области неизвестности предмета для слушающего, то она не отличает *-нибудь* от *-то*: фразы типа «*Кто-то* из древних мыслителей сказал...» не означает, что слушающий не знает автора цитируемого источника, а во фразе «Там *кто-то* пришел» вообще отсутствует даже предположение, что слушающий, как и говорящий, представляет себе, кто именно пришел. С другой стороны, и употребление местоимений с *-то* не всегда поддается интерпретации в плане неизвестности предмета или признака для говорящего. Например, в предложении «Нужна служба охраны земли. Будет ли это инспекция с особыми правами или контролеры...», но *кто-то* должен быть на этом участке строительства коммунизма» (из газет) в буквальном смысле не утверждается, что неизвестная еще для говорящего конкретная организация должна выполнять указанную в высказывании функцию. Ср. также: «У него и в мыслях нет о *ком-то* заботиться, *кому-то* бесплатно помогать» (из газет). Здесь не утверждается, что у него в мыслях нет заботиться о неизвестном говорящему лице (в противном случае, «он» прав, так как нельзя заботиться о неизвестном лице).

Нельзя также согласиться с мнением о том, что инвариантное значение *-нибудь* чуть ли не покрывает все семантическое пространство остальных неопределенных местоимений, не имея каких-либо своих дифференциальных признаков. Такому заключению противоречит сам факт отсутствия полной синонимической замены местоимениями с *-нибудь* других местоимений и сама специализированность контекстов для употребления местоимений с *-нибудь*. С точки зрения известного закона об обратном соотношении между содержанием и объемом понятия, применяемого и в семасиологии, семантически самые широкие местоимения с *-нибудь* не должны иметь какие-либо ограничения в употреблении и, наоборот, при учете ограничения их употребления должны характеризоваться дифференциальными семами.

Поисками дифференциальных сем для местоимений с *-нибудь*, по понятным причинам, всегда занималась лексикография. Она единодушно выделяет в них только одно значение — «безраз-

лично кто/что/какой/чей и т. д.» (мы отвлекаемся от приводимых в словарях других, количественных или наречных значений данных местоимений типа «два литра с *чем-нибудь*»). Однако не во всех случаях можно усмотреть это значение и синонимично употребить его вместо *-нибудь*. Так, если фразы «Расскажите *что-нибудь*», Пусть *кто-нибудь* пойдет к нему» допускают толкование через «безразлично что, кто», то этого не допускают фразы «—*Кто-нибудь* из прошлых годов знакомых вспомнил мои именины, — сказал Обломов» (Гончаров), «Или я заблудился в тумане? Или *кто-нибудь* шутит со мной?» (Блок).

Попытки определить семантическое своеобразие местоимений с *-нибудь* путем сравнения с другими местоимениями были предприняты в работах О. Н. Селиверстовой и Ю. И. Левина [7, 3]. В первой из них путем компонентного анализа были выделены следующие два различительных признака: а) количественный — указание на один (или по крайней мере один) объект, б) качественный — указание на объект, который в момент речи является одним из возможных участников события, входящим в «больше, чем один», а не в число обязательно всех возможных участников, ср. *Любой из вас знает это* — знают все (каждый) участники, но: *Кто-нибудь из вас знает это?* — хотя бы один, но не все. Соотношение указанных признаков означает, что «между объектами, качественно способными участвовать в событии, устанавливается отношение дизъюнкции («или»), определяемое их возможностью фактического участия, а с другой стороны, — этот участвующий в событии элемент еще не выбран» [7, 81]. Невыбранность как вариант различительных признаков объясняет возможность фразы «Я поговорю с *кем-нибудь* из них» и невозможность фразы «Я поговорил с *кем-нибудь* из них». Однако местоимения с *-нибудь* могут употребляться при описании события с выбранным участником, если утверждение об осуществлении события делается с определенной степенью вероятности и говорящему неизвестен его участник (ср. *Вероятно, это принес кто-нибудь из друзей*) и если речь идет о распределении известных говорящему участников по событиям, происходящим в разное или одно и то же время (ср. *Изредка она взглядывала на кого-нибудь из нас; В этот вечер мы все были чем-нибудь заняты*).

В связи с тем, что различительные признаки местоимений с *-нибудь* сами по себе не указывают на существование участвующего в событии объекта, О. Н. Селиверстова останавливается на анализе еще одного признака — «существования», который может в принципе принимать три значения: «существует», «не существует», «отсутствует указание, что существует/если существует» (последнее является вариантом третьего значения). По отношению к *-нибудь* признак существования не имеет постоянного значения: ср. *Если мне будет кто-нибудь звонить, скажите,*

что я вернусь в 7 часов и Вы что-нибудь ели сегодня? слово *кто-нибудь* получает значение «если будет существовать», слово *что-нибудь* — значение «отсутствует указание, что существует»; в предложении *Мне неприятно видеться с кем-нибудь из них* лексема *кто-нибудь* имеет значение «не существует» (*неприятно* играет роль скрытого отрицания), а в *Я поговорю с кем-нибудь из них* — значение «существует» [7, 87]. В заключении отмечается, что «роль этого признака в значении анализируемой группы (исключением является лишь слово *любой*) не совсем ясна» (там же).

Представляется, что в статье О. Н. Селиверстовой правильно определено релевантное значение *-нибудь*, как выражающее дизъюнктивные отношения (впрочем, такое определение семантики местоимений с *-нибудь* не ново: оно встречается еще у Ф. Ф. Буслаева, см. [1, 351]), но не выяснена связь этого значения с особенностями его функционирования в разных контекстуальных условиях, ибо роль признака «существовать», имеющего прямое отношение к формированию высказывания, осталась не раскрытой.

В статье Ю. И. Левина местоимения с *-нибудь* характеризуются признаками «отсутствие указания на объем множества, из которого выделяется элемент», «указание на величину выделяемого элемента, равную нулю или больше нуля ($k \geq 0$)» и «указание на нефиксированность элемента», т. е. на отсутствие выделения определенного элемента [3, 111]. В итоге местоимения с *-нибудь* определяются в своих значениях следующим образом: состав выделяемого элемента остается неизвестным получателю и отправителю, в момент сообщения не фиксирован во множестве даже в принципе или фиксации происходит после момента сообщения [3, 115—117].

Легко заметить, что признак нефиксированности у Ю. И. Левина — это признак дизъюнктивных отношений у О. Н. Селиверстовой. Но у О. Н. Селиверстовой он сопровождается признаком невыбранности, который остается и после сообщения (*Нужно поговорить с кем-нибудь из них*), а у Ю. И. Левина последний в этих условиях считается фиксированным и значит выбранным, по терминологии О. Н. Селиверстовой. С другой стороны, у О. Н. Селиверстовой признак известности/неизвестности объекта говорящему является нерелевантным для *-нибудь*, а у Ю. И. Левина признак неизвестности как отправителю, так и получателю выводится из признака нефиксированности, или неопределенности, произвольности [см. там же, 111]. Следует также отметить, что Ю. И. Левин устанавливает признаки местоимений без обращения к условиям их реализации.

Объяснению употребления местоимений с *-нибудь* в различных синтаксических позициях посвящены разделы упомянутой работы Л. Я. Маловицкого. Исходя из связи значения неопреде-

ленности с видо-временной семантикой и категорией модальности, он делает заключение, что «прономинальные формы на *-нибудь* (*-либо*) употребляются в тех предложениях, где реальность сообщаемого точно не установлена (вопросительные, побудительные, условные конструкции; повествовательные предложения со сказуемым, выражающим постоянное, повторяющееся или не локализованное во времени действие; высказывания с модальными значениями предложения, сомнения и т. п.» [4, 85—86]). Использование местоимений с *-нибудь* в плане выражения будущего времени также объясняется тем, что «значение будущего времени не контрастно значению полной неопределенности» [там же, 84]. В тех же случаях, когда видо-временные формы указывают на определенное, «очевидное» сообщаемое (актуальное настоящее, прошедшее совершенное с модальностью достоверности) местоимения *кто/что-нибудь* не употребляются. В общем виде подобное осмысление особенностей реализации местоимений с *-нибудь* как будто не вызывает возражений, но, как уже говорилось, не установив специфику неопределенности значения *-нибудь* в отличие от других неопределенных местоимений, трудно понять его связь со значением отсутствия (или неточности) установления реальности сообщаемого. Ведь, как показал Ю. Рыбак [6], и местоимения с *-то* также могут употребляться в виртуальных высказываниях. Кроме того, встает вопрос о том, что объединяет перечисленные условия реализации значения *-нибудь*: вряд ли можно согласиться с мнением, что значение повторяющихся, постоянных действий менее реально или «очевидно», чем значение локализованных действий.

Целью настоящей статьи является определить прономинальную семантику неопределенных местоимений на двух уровнях, как это делается по отношению к любым лексическим единицам: абстрактном (системном) и актуальном (функционально-синтаксическом уровне высказывания). Причем инвариантные значения местоимений выводятся из обобщения функционального употребления и путем системного противопоставления с другими местоимениями.

II

Местоимения с *-нибудь*

Семантическая зона прономинальных функций местоимений с *-нибудь* определяется их указанием на:

1) Всю совокупность (множество), состоящую из более, чем одного элемента, из которой выделяется особым образом (о чем см. ниже) один элемент. Эта совокупность, когда обозначается сочетанием с предлогом *из* или реже другими средствами,

является для говорящего определенной по общим свойствам: *кто-нибудь из студентов, из нас двоих* и т. д.; *Знает ли Вас кто-нибудь в семье Петровых?* (из семьи Петровых?). При отсутствии показателей определенной совокупности она либо предполагается самой ситуацией (ср. *Дайте что-нибудь почитать, поесть; Еще кто-нибудь придет?* — при ожидании приглашенных гостей), либо представляется неопределенной по объему лиц (предметов) признаков и др., т. е. объединяется только общим свойством лиц и не-лиц и др., *Надо сделать что-нибудь для него; Еще кто-нибудь скажет, что я обманул* и под.

2) Совокупность, которая мыслится однородной по обозначенным общим свойствам, но качественно разнообразной по составляющим ее элементам. Это подтверждается невозможностью употребления местоимений с *-нибудь* по отношению к совокупностям, состоящим из однородных элементов [см. 7]: нельзя сказать «Возьми *какой-нибудь* карандаш» при наличии одинаковых карандашей. Качественное разнообразие элементов совокупности может быть известным говорящему или только предполагаемым им: ср. *Кто-нибудь из нас двоих должен пойти туда; Это приехал, наверное, кто-нибудь из артистов.*

3) Единичность элемента, выделяемого из определенной или неопределенной и качественно разнообразной по составу элементов совокупности. Об этом свидетельствует отсутствие отмеченных фраз с согласованием по множественному числу типа «*Кто-нибудь из вас были в Москве?*» Возможный ответ на вопрос «*Кто-нибудь из вас был в Москве?*» во множественном числе («Все были, многие были...») объясняется тем, что вопрос поставлен в общей форме, к отдельному и любому элементу, составляющему вместе с другими отдельными и любыми элементами всю совокупность элементов: все состоит из каждого отдельного в целом.

Специфичность проминальной семантики местоимений с *-нибудь* на системном уровне состоит в том, что они выражают разделительные (дизъюнктивные) отношения («или — или») между неконкретизированными качественно разнородными элементами множества как участниками событий*, т. е. мыслимую совместимость/фактическую несовместимость связей всех элементов множества с выражаемым признаком в одно и то же время и возможность такой связи только с одним любым из них, исключая при этом другие элементы. Ср. *пойду куплю книгу или альбом* — оба предмета находятся в одинаковой мыслимой связи с действием (могу купить книгу — могу купить альбом). Однако фактически (при решении вопроса в форме разделительных суж-

* Здесь и в дальнейшем под событием понимается факт действительности, в котором выделяется участник и нечто происходящее с ним в определенное время и определенном месте.

дений) в одно и то же время эти связи исключают друг друга и возможна только связь с одним любым из них: если куплю книгу, то не куплю альбом и наоборот. Значение возможности связи одного из элементов с утверждаемым признаком при исключении других является значением вероятности, так как вероятность — это мера осуществления возможности события при разделительных суждениях (или при решении вопроса о вероятности события используются разделительные суждения).

В основе разделительных отношений лежит, по сути дела, логический закон исключенного третьего, утверждающий, что из двух противоречащих высказываний в одно и то же время и том же отношении одно является истинным, а другое — ложным. Вместе с тем ни закон исключенного третьего, ни разделительные отношения не взаимоисключают разные высказывания, если устанавливаемые в них события относятся в разному времени или разным участникам. Такие связи между событиями и выражаются в языке разделительными союзами при указании на чередующиеся явления, которые находятся в отношениях повторяющейся смены, т. е. повторяющегося следования одного явления за другим (несовместимо). Другими словами говоря, разделительные отношения не взаимоисключают разные события, если они повторяются по очереди, в разное время. Ср. «Лишь изредка олень пугливый через пустыню пробежит, или коней табун игривый молчанье дола возмутит» (Лермонтов) — и то и другое событие повторяется спорадически друг за другом, в разное время, не исключая друг друга на линии времени. Ср. еще: «Все тихо; разве без оглядки Фельдъегерь пролетит селом Или обратные лошадки, Понуря голову, шажком Пройдут» (Некрасов).

Признак указания на неконкретизированный элемент множества, выступающий в качестве участника события, или иначе — признак отсутствия индивидуализирующей функции у местоимений с *нибудь* проявляется в обозначении ими:

1) Незвестности для говорящего а) конкретного участника предполагаемого события в плане прошлого или настоящего: «Я ее тоже, должно быть, обидел *каким-нибудь* необдуманном глупым словом» (Тургенев); «Вероятно, в Анне было *что-нибудь* особенное, потому что Бетси тотчас заметила это» (Л. Толстой); *Он возвращается обратно, — видимо, что-нибудь забыл; Никак не могу найти книгу, — наверное, кому-нибудь дал почитать; «Или я заблудился в тумане? Или кто-нибудь шутит со мной?»* (Блок); б) конкретного лица, предмета (члена) предполагаемого круга участников реального совершившегося или совершающегося события: *Вероятно, это сказал кто-нибудь из моих знакомых; Видимо, ее встречает кто-нибудь из друзей, «Ицка шел сосредоточенно, молчал и все думал, думал и думал. О чем? Вероятно, о чем-нибудь* таком, что не поддавалось никакому ясному определению» (Гарин). Предположение о событии или круге участ-

ников события основано на каких-то косвенных фактах, а неизвестность конкретного участника — на ненаблюдаемости события, отсутствии сведений, забывчивости и др.

2) Несущественности для говорящего конкретных участников будущего события, ср. *Пойду куплю что-нибудь из овощей* (ср. *Пойду куплю книгу или альбом*); *Надо поговорить с кем-нибудь из них* (ср. *Надо поговорить с Петровым или Ивановым*); *Пошли кого-нибудь за ним*; *Сходи к кому-нибудь из друзей* и под.;

3) Несущественности для говорящего конкретных участников повторяющихся во времени реальных событий и конкретного порядка их следования. Ср. «Всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка» (Гоголь); «После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу...; другой сядет к окну» (Гончаров). В данных случаях местоимения с *-нибудь* выполняют анафорическую функцию (обычно предваряющую), но особенность ее состоит в том, что она не исчерпывает обязательно всех известных говорящему повторяющихся альтернатив: конкретные элементы названы в контексте как одни из многих в качестве отдельных примеров и значит как не имеющие существенного значения для говорящего. В предложениях типа «Каждый день кто-нибудь из нас ходил на почту» анафорическая функция неопределенных местоимений относится к смене участников повторяющегося события, но без их конкретизации и конкретизации порядка смены (из-за несущественности говорящему).

4) Неизвестности и несущественности для говорящего конкретного участника предполагаемого события как основы вопроса о наличии события с его участником во всех временных планах: *Меня спрашивал сегодня кто-нибудь? Дать тебе какую-нибудь книгу?*

Указанное инвариантное значение неопределенных местоимений с *-нибудь* можно назвать, вслед за Ю. И. Левиным, нефиксированным выделением одного из неконкретизированных элементов множества в качестве участника события, а значения неизвестности и нефиксированности конкретного участника предполагаемого события или предполагаемого круга участников события, несущественности и нефиксированности конкретного участника будущего события, несущественности и нефиксированности конкретных участников повторяющихся событий и порядка их следования, неизвестности, несущественности и нефиксированности конкретного участника предполагаемого события как основы вопроса о наличии события — контекстуальными признаками инвариантного значения.

Именно признаком нефиксированности выделения одного из элементов множества, имеющих возможность иметь связи с устанавливаемыми фактами, местоимения с *-нибудь* отличаются от близкого к нему по своей семантике местоимения *любой*₂ с при-

знаком указания на соединительные отношения («и — и»), ср. *Любой студент знает это* — и этот, и тот, и этот и т. д., в итоге — все; но: *Наверное, кто-нибудь из студентов знает это* — тот или иной. С другой стороны, местоимения с *-нибудь* сближаются по данному признаку с местоимением *любой*₁ в единично-разделительном значении, указывающем на нефиксированный элемент множества, предназначенный для выбора слушающим: ср. *Возьми с собой любую книгу* (какую угодно) и *Возьми с собой какую-нибудь книгу*. Разница между ними заключается в том, что *любой*₁ подчеркивает субъективность предназначенного выбора элемента из множества, а *-нибудь* — объективную разнородность элементов, предназначенных для выбора и несущественность их для говорящего в качестве отдельных участников события. Поэтому *любой*₁ употребляется в высказываниях, имеющих целью побудить слушающего к субъективному выбору элемента множества, а местоимения с *-нибудь* не имеют этих ограничений.

Сочетание контекстуальных признаков неизвестности и нефиксированности для говорящего участника события является в целом содержанием первого частного значения местоимений с *нибудь*: неизвестности для говорящего конкретного участника предполагаемого события или предполагаемого круга участников события, признаков несущественности и нефиксированности конкретного участника будущего события — содержанием второго частного значения местоимений с *-нибудь*: безразличности (несущественности) говорящего в момент высказывания к выбору конкретного участника будущего события, признаков несущественности и нефиксированности конкретных участников повторяющихся событий и порядка их следования — содержанием третьего частного значения местоимений с *-нибудь*: безразличности (несущественности) говорящего к указанию на конкретных участников и порядку смены повторяющихся событий, а признаков неизвестности, несущественности и нефиксированности конкретного участника предполагаемого события как основы вопроса о наличии события с его любым участником — содержанием четвертого частного значения местоимений с *-нибудь*: обобщенного участника в вопросе о наличии события, т. е. участника события, которым может быть любой элемент множества.

Контекстуальные ограничения в употреблении местоимений с *-нибудь* связаны с их указанием на разделительные отношения между неконкретизированными элементами множества как участниками событий, т. е. с интерпретацией фактов действительности в форме разделительных суждений о неконкретизированных для говорящего по разным причинам (неизвестности, несущественности) их участниках. В этом отношении существенное значение имеет деление высказываний на 1) виртуальные (с модальным планом виртуальности), в которых сообщается о мыслимой действительности, соотнесенной с реальной действитель-

ностью в плане возможности или способности проявления, и 2) реальные (фактические, достоверные), в которых сообщается об имевших или имеющих место событиях реальной действительности.

Первый тип высказываний, в свою очередь, делится на три подтипа: а) высказывания с обозначенным планом прошедшего и настоящего разового события, связанного с участником, интерпретируемым говорящим в форме разделительных суждений о неконкретизированных участниках; б) высказывания с обозначенным планом будущего события, участник которого также интерпретируется говорящим в форме разделительных суждений о неконкретизированных участниках; в) вопросительные предложения, содержащие вопрос о наличии события с его неконкретизированным (любым) участником.

В первом подтипе виртуальных высказываний реализуется первое частное значение местоимений с *-нибудь*. Здесь разделительные отношения представлены в значении возможности (вероятности) связи с одним любым элементом множества при исключении других, а для выражения неизвестности используется признак отсутствия конкретизации элемента.

Ср.: *Он очень плохо выглядит: наверно, чем-нибудь болен; (Городничий)*; — Чш! Экие косолапые медведи стучат сапогами. Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает *кто-нибудь* с телеги» (Гоголь); «Ежели тебе кажется, что *кто-нибудь* виноват перед тобой, забудь это и прости» (Толстой Л.); «Если во всей губернии есть *что-нибудь* интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад» (Чехов)».

«На другом берегу показался красный, тусклый огонек, и они от нечего делать решали, костер ли это, огонь ли в окне, или *что-нибудь* другое» (Чехов); «Ицка шел сосредоточенно, молчал и все думал, думал и думал. О чем? Вероятно, о *чем-нибудь* таком, что не поддавалось никакому ясному определению» (Гарин); «Он был такой старый, слабый; вот я и думал, что *кто-нибудь* ходил к нему» (Достоевский); «Раньше она никогда не чувствовала себя нужной *кому-нибудь*, а теперь ясно видела, что нужна многим» (Горький); «Может быть, *кому-либо* другому превращение дивизионного специалиста в командира катера показалось бы понижением, но для лейтенанта Решетникова это было совершением мечты» (Л. Соболев); «Ему казалось, он уже понял сущность искусства лучше, чем *кто-либо* другой» (Федин); «Старший офицер просил нас держать бегство Лютикова в секрете от матросов... — Если бы бежал *какой-нибудь* негодяй, а то лучший унтер-офицер» (Станюкович); «Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены любить *кого-нибудь*, и он ужаснулся перед этим» (Л. Толстой).

Второй подтип виртуальных высказываний связан с формой будущего времени, модальными предикативами типа «жела-

тельно», «необходимо», «нужно» и под., модальными глаголами «хотеть», «желать», с формой повелительного наклонения, придаточными цели, условными конструкциями со значениями будущего времени и др. В таких высказываниях говорящего интересует прежде всего наличие в будущем самого отдельного события, а не его конкретный участник. В данных условиях используются также разделительные отношения между неконкретизированными элементами на уровне мыслимой совместимости/фактической несовместимости связей элементов множества с выражаемым признаком в одно и то же время и возможность такой связи с одним отдельным и любым из них при исключении других.

Ср. «Девушки, полюбите меня *кто-нибудь*» (А. Островский); «Была полночь, хоть бы *кто-нибудь* стукнул, вскрикнул или вздохнул — нет, все счастливо спали» (В. Лихоносов); «Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста... Ну, хоть так, наугад, *кого-нибудь* назовите» (Куприн); «И вот эта дорога, и сосны, и фонтан у края дороги — все это жизни человеческие, и оживи *какой-нибудь* волшебник безмолвные лет, как бы заговорило все, как бы могуче запело» (Павленко); «Ночь минет — быть может, христа ради ей *Кто-нибудь* поможет из чужих людей» (Никитин); «Если *кто-нибудь* придет, то скажите, что я буду дома вечером; Надо вызвать *кого-нибудь* из служащих; Мне надо поговорить с кем-*нибудь* из студентов; Стража была из своих, каждого знала в лицо и зорко следила за тем, чтобы *кто-нибудь* чужой не проник на шишкобой» (Г. Марков); «Но думаю так, что ежели бы *какой-нибудь* сочинитель присмотрелся ко мне, — мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?» (Горький).

Значение несущественности, безразличности для говорящего к конкретному участнику будущего события развило сему качественной характеристики незначительности и количественной ограниченности и в ряде случаев уже является одним из новых релевантных значений местоимений с *-нибудь*: ср. *Книга нужна не какая-нибудь, а интересная; Она вышла замуж не за кого-нибудь, а за инженера; «Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи...»* (Тургенев); «Мы все учились понемногу *чему-нибудь* и как-*нибудь*...» (Пушкин); ср. также: *через какие-нибудь полчаса, какую-нибудь минуту* и под.

В вопросительных предложениях местоимения с *-нибудь*, выражая разделительные отношения между неконкретизированными элементами множества, употребляются для формирования вопроса о наличии самого события с его участником, конкретный характер которого неизвестен и несущественен для спрашивающего. Поэтому вопрос в подобных предложениях сосредоточен не на конкретизации участника события, а на самом событии с его любым участником. Ср. «— Знает ли вас *кто-нибудь* в доме

Троекурова? — спросил он. — Никто, — отвечал учитель» (Пушкин); ср. *Кто знает вас в доме Троекурова?* (вопрос о конкретизации участника), «— Смотрел ли *кто-нибудь* из вас в окно? — спросил становой» (Чехов), ср. *Кто смотрел в окно? Меня спрашивал кто-нибудь? Тебе нужно что-нибудь? Вы обращались к какому-нибудь врачу? Дать вам какую-нибудь книгу? Вы читали что-нибудь из рассказов Куприна?* Можно сказать, что в вопросительных предложениях местоимения с *-нибудь* употребляются в особом значении обобщенного участника в осуществлении события, в связи с чем возможны ответные реплики с отрицательными местоимениями (никто, ничто), отрицающими любого взятого участника (всех участников) события, а значит — и само событие.

В связи с общим (принципиальным для говорящего) характером вопроса о наличии события с его любым участником, в вопросительных предложениях с *-нибудь* обычно употребляется несовершенный вид с обобщенно-фактическим значением, хотя и не исключается и совершенный вид, если речь идет о разовом действии: ср. *Ты сказал кому-нибудь об этом?*; «— Вы его *чем-нибудь* рассердили? — отозвался князь с некоторым особенным любопытством» (Достоевский).

В высказываниях с модальным планом реального осуществления события реализуется третье частное значение местоимений с *-нибудь*, указывающее на безразличность говорящего к участникам и порядку смены повторяющихся событий. В этом случае разделительные отношения не устанавливают несовместимости элементов множества и поэтому представляют события в модальном плане реальности.

Ср. «... на деревянных конях с немисливо выгнутыми шеями и взлетами ног крутились, сидя важно, усатые люди в гусарских куртках, в бушлатах ... «Шибче, шибче», — грозным басом повторял *кто-нибудь* из них» (А. Толстой); «Когда *кто-нибудь* заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет» (Чехов); «Ему чрезвычайно не нравилось, когда *кто-нибудь* заводил речь о его молодости» (Чехов); «Иногда его вызывали на консультацию к *какому-нибудь* больному» (Федин); «Кроме того, не проходило и полчаса, чтобы в землянку не заглянул *кто-нибудь* из колхозников» (Чаковский); «Когда он говорил о *чем-нибудь* относящемся к медицине, то не походил ни на одного из наших городских докторов ...» (Чехов); «— Нет выше бога, как свобода! — говорила она, заставляя себя сказать *что-нибудь* серьезное и значительное» (Чехов); «Ему больно было видеть, как томится от невольного бездействия отец, которого он всегда привык видеть *чем-нибудь* занятым: он либо ремонтировал мебель, мастерил *что-нибудь* по хозяйству, либо читал, делая выписки в толстую тетрадь»

(Л. Кассиль, М. Поляновский); «И как увижу осиротелых ребят, спешу купить *чего-нибудь* и раздаю по конфетке, по прянику» (Пришвин); «Сердцу приятно с тихой болью *Что-нибудь* вспомнить из ранних лет» (Есенин).

III

Местоимения с -то

Специфичность прономинальной семантики местоимений с -то заключается в том, что они указывают на отдельный фиксированный, но неконкретизированный для говорящего элемент определенного или неопределенного множества, выступающий в качестве участника события ср. *кто-то из нас узнал его, кто-то приходил, что-то принес* и т. д. Признак фиксированности проявляется в возможности употребления этих местоимений в модальном плане реальности разового действия или повторяющегося действия с одним и тем участником. Ср. «Сказали мне, что заходил За мною *кто-то*... Всю ночь я думал: кто бы это был?» (Пушкин); «Там не раз, говорят, старого барина выдали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, *чего-то* на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, ... изволишь искать на земле? ... Разрыв-травы, говорит, ищу...» (Тургенев).

Признак неконкретизированности выражается в двух типах указания данными местоимениями на участников события: 1) на ту или иную степень известности для говорящего реального участника события и 2) на несущественность для говорящего конкретизации участника события. Первый тип указания представлен следующими значениями:

а) Незвестности для говорящего конкретного участника события (примеры см. выше). Индивидуальный участник события остается для говорящего неизвестным и в том случае, если он воспринимается своими внешними признаками: «В предрассветной глубокой темени увидел, как через забор махнул *кто-то* большой, грузный» (Шолохов); «И мне показалось, что *кто-то* в белом сидел на берегу» (Лермонтов); «... На валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит всадник и держит *что-то* белое на седле» (Лермонтов); «*Что-то*, говорит, твердое было: не то нож, не то еще что» (Н. Успенский); «Врач, лечивший Веру Фадеевну, заподозрил *что-то* в легких и вызвал районного фтизиатра, который предположил плевроит» (Трифонов).

б) Неполного сходства с обозначенным предметом, признаком — неясного для говорящего по разновидности предметной отнесенности (обычно с предлогом *вроде*): «У Пекарского есть знакомая дама, писал он, которая держит пансион, *что-то* вроде

детского сада...» (Чехов); «На окне лежало *что-то* вроде шапки» (Короленко); «Там был другой цвет, *какой-то* сиреневосерый, но цвет тоже живой, подвижный, как на воде» (Федин); «Впрочем, он в ее глазах был *чем-то* вроде виртуоза или артиста» (Тургенев); «В шуме родной реки есть *что-то* схожее с колыбельной песнью» (Лермонтов).

в) Неопределенного предмета интуиции как носителя субъективно интерпретируемых признаков, впечатлений: «*Что-то* гордое и независимое было в этой мужественной старухе» (Горбатов); «Видно было, что он хочет сказать *что-то* очень важное, но не решается» (Чехов); «Черненькой на вид было лет пятнадцать, и правильные, тонкие черты ее лица обещали из нее со временем *что-то* очень красивое» (Лесков); «В красивом пассажире чувствовался если не начальник, то *кто-то* с влиянием по пароходному делу» (Боборыкин); «Даша стояла и думала, что вот она; как муха, попала во *что-то*, как паутина, — тончайшее и соблазнительное. Это «*что-то*» было во влажном запахе цветов, в двух словах: «Любите любовь», в жеманных и волнующих, и в весеннем очаровании этого вечера» (А. Толстой).

Примечание: В литературных примерах встречается употребление местоимений с *-то* для намеренного устранения говорящим известности ему участника события: «— А у меня *что-то* для *кого-то* есть!» *Что-то* «было, конечно, письмом от Николая» (А. Н. Толстой); «В течение прогулки она несколько раз подходила к Пасынкову и говорила ему: «Яков Иванович, я вам *что-то* хочу сказать,» но что она хотела сказать — осталось неизвестным» (Тургенев).

Второй тип указания представлен значением обобщенного предмета, индивидуальность которого несущественна для говорящего, но существенно его наличие как участника события (в виртуальных высказываниях): «Если человек любит *кого-то* (неважно кого — мужа, жену, сына, дочь, просто друга или подругу), он не может не разделять интересов любимого человека» («Новый мир») [6]; «Ах, если б догадался *кто-то*, кому случилось рядом быть, всю жизнь мою заснять на фото и мне однажды подарить...» (Алигер); «Стонет душа, нестерпимо хочется говорить *кому-то* речь, полную обиды за всех, жгучей любви ко всему на земле...» (Горький); «Нужна служба охраны земли. Будет ли это инспекция с особыми правами или контролеры..., но *кто-то* должен быть на этом участке строительства коммунизма» (из газет); «Допустим, я не устраиваю вас как главный инженер и вы хотите назначить на мое место *кого-то* другого» (Чаковский); «Лиза начала медленно опускаться, как будто ей нужно было *что-то* поднять с пола» (Федин); «Удивительны были морщины взлетевшего над бровями лба — словно по большому полю с трудом протянул *кто-то* сохой борозду за бороздой» (Федин); «Должность у меня не самая первая, но и не самая последняя — катощник. Уже по названию видно, что я *что-то* катаю» (Баруздин).

Отмеченные выше контекстуальные значения местоимений с *-то* можно назвать частными значениями их инвариантного значения. Реализуются они в двух типах высказываний: с реальным и виртуальным планами модальности. В реальных высказываниях местоимения с *-то* выступают с двумя указанными значениями в зависимости от лексического окружения: если они употребляются с определениями (*что-то*) субъективно-чувственной интерпретации признаков, то обозначают неопределенный предмет интуиции как носителя этих признаков, ср. «*Что-то* слышится родное В долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То сердечная тоска . . .» (Пушкин); «Всю ночь металось море, всю ночь гремела прибрежная галька, и в рокоте этом слышалось *что-то* неумолимое, вечное» (Арсеньев); «Наступил промежуток чудовищной темноты и тишины — без мыслей, без всяких внешних впечатлений, почти без сознания, кроме одного страшного убеждения, а *что* сейчас, вот сию минуту, произойдет *что-то* нелепое, непоправимое» (Куприн); в остальных случаях они употребляются либо со значением неполного, напоминающегося сходства с обозначенным предметом, признаком (обычно с предлогом *вроде*), либо со значением неизвестности для говорящего участника события, ср. еще: «Он знал и труд и вдохновенье И освежительный покой, К *чему-то* жизни молодой Неизъяснимое влечение» (Пушкин).

В виртуальных высказываниях местоимения с *-то* синонимичны местоимениям с *-нибудь*, отличаясь от последних признаком фиксированности, который вносит в контекст элемент определенности, а не безразличности. Ср. подобное синонимичное сближение в следующем примере из письма А. П. Чехова А. С. Суворину: «Лихорадящим больным есть не хочется, но *чего-то* хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: «*чего-нибудь* кисленького». Так и мне хочется *чего-то* кисленького». Следует отметить, что во всех приведенных примерах употребления местоимений с *-то* в виртуальных высказываниях информанты, для которых русский язык является родным, допускали синонимичную замену местоимениями с *-нибудь*, обращая внимание на указанное стилистическое различие между контекстами.

Контекстуальные ограничения в употреблении местоимений с *-то* связаны с их инвариантным значением фиксированного, но неконкретизированного участника события. В отличие от местоимений с *-нибудь* они не употребляются с формами повелительного наклонения и почти не употребляются в вопросительных предложениях. Мы объясняем это следующими причинами: повелительное наклонение предполагает осуществление действия в будущем (после волеизъявления), в плане которого у местоимений с *-то* реализуется значение обобщенного, а не отдельного предмета, (повелительное наклонение, напротив, имеет в виду

актуальный адресат); в вопросительных предложениях местоимения с *-то* в значении неконкретизированной фиксированности не формируют такого предмета вопроса, на который можно дать ответ либо о конкретизации участника события (для этого употребляются вопросительные местоимения *кто/что* и под.), либо о наличии самого события с его любым участником (для этого употребляются местоимения с *-нибудь*).

IV

Местоимения с *кое-*

Частица *кое-* вносит в местоимения (*кто, что, какой*) количественное значение «некоторый» (небольшой, ограниченный в количестве) и тем самым фиксирует предмет или признак, актуализируя их в модальном плане реальности. Инвариантным значением местоимений с *кое-* является указание на фиксированные в ограниченном количестве, но не конкретизированные для слушающего разные элементы множества, выступающие в качестве участников события.

Признак (небольшой) множественности проявляется в а) обычном употреблении *кое-какой* во множественном числе, если этого не требуют существительные *singularia tantum*: «Завелись там *кое-какие* грехи» (Гоголь); «Да я еще коменданта не видел, а мне надо сдать *кой-какие* казенные вещи (Лермонтов); б) употреблении местоимений с *кое-* по отношению к небольшому количеству предметов, лиц: «Завтра обедай у меня, *кое-кто* будет. — «Не друзья ли ваши?» Да... Конев. С., Ф., и еще *кое-кто*» (Гончаров); в литературном языке 19 века при местоимениях с *кое-* нередко встречается сказуемое во множественном числе: «По средам у ней собираются *кое-кто* из старых знакомых» (Гончаров); «У Райнера составилось весьма обширное знакомство, и *кое-кто* из эмигрантов стали подглядывать на него с надеждами и упованием» (Лесков).

Признак фиксированности проявляется, как и у местоимений с *то-*, в возможности употребления в модальном плане реальности разового или повторяющегося события: «У князя Лиговского были гости *кое-кто* из родных, когда Красинский вошел в лакейскую» (Лермонтов); «У Ростовых, как и всегда по воскресеньям, обедал *кое-кто* из близких знакомых» (Л. Толстой); «*Кое-кто* уходил из деревни на заработки, и *кое-где* избы пустовали, окна были забиты досками (Гладков); «Офицеры переглянулись, и *кое-кто* чуть заметно улыбнулся в усы» (Паустовский); «В последние пять лет он много прочел и *кое-что* увидел» (Тургенев).

Признак неконкретизированности участника события для слушающего выражается в двух типах употребления местоимений с

кое- по отношению а) к самому говорящему, намеренно скрывающему от слушающего конкретизацию (известность) обозначаемого местоимениями с *кое-*: «— А я *кой-кого* из вас, кажется, знаю! ... Вот это, если не ошибаюсь, Чучаева» (Мальцев); «Был Витгенштейн, Багратион, Раевский, Да и теперь есть *кое-кто* у нас» (Вяземский); «Мне нужно *кое о чем* переговорить, так не хотите ли заехать ко мне?» (Гоголь); «Я знаю, что она меня любит... Любила меня одного. (Александр): — А я знаю *кое-что* другое» (Лермонтов); б) к личным местоимениям 3-го лица (в том числе синтаксического выражения,) к которым относится известность обозначаемого местоимением с *кое-*, а для говорящего она не имеет существенного значения: «По средам у ней собираются *кое-кто* из старых знакомых» (Гончаров); «Вечером они *кое с кем* повидались, узнали подробно всю историю» (С. Аксаков); «Не прошло десяти минут, как он встал, *кое с кем* поздоровался, *кое-кого* потрепал по плечу и очутился у двери» (Апухин); «Всегда они пили утренний чай вместе, поспоривая *кое о чем*, *кое с чем* советуясь, *кое над чем* подтрунивая» (Лесков); «Под вечер иногда сходились соседей добрая семья, Нецеремонные друзья, И потужить, и позлословить, и посмеяться *кой о чем*» (Пушкин); «Дед был вынужден *кое в чем* уступить (детям)» (Авдеев).

Второй тип употребления близок к употреблению местоимений с *-нибудь* при выражении повторяющихся событий: «По средам у нее собирается *кое-кто/кто-нибудь* из знакомых», «Под вечер иногда собирались соседи посмеяться *над кое-чем/чем-нибудь*».

Как и местоимения с *-то*, местоимения с *кое-* не употребляются с формами повелительного наклонения и в вопросительных предложениях по причинам, одинаковым для местоимений с *-то*: *кое-* не несет для слушающего информации об отдельном, актуальном адресате и в силу признака известности говорящему обозначаемого не может участвовать в формировании предмета вопроса.

V

Местоимения *некто, нечто, некий*

По поводу семантики местоимений *некто, нечто, некий* были высказаны разные мнения. Л. Я. Маловицкий относит их к местоимениям с *-то* [4]. Ю. И. Левин считает, что они занимают промежуточное положение между «кое-» и «то- местоимениями», принимая в зависимости от контекста их признаки известности/неизвестности говорящему элементу множества как участника события [3, 117]. Однако Ю. И. Левин приводит примеры на возможность замены местоимениями *нечто, некто* местоимений

с -то и кое-что, но не кое-кто: вас спрашивал некий (=какой-то) Петров, подошел некто (=кто-то) в кепке, он пробурчал нечто (=что-то) невнятное, я могу сообщить тебе нечто (=кое-что) приятное. Ср. пример на употребление некто по отношению к известному для говорящего лицу: Шубин подошел ко мне после стола и сказал: «Вот этот и некто другой (он твоего имени признать не может) — оба практичные люди, а посмотрите, какая разница» (Тургенев).

Представляется более правильным толковать значение местоимений некто, нечто, некий как выполняющее функцию неопределенного артикля, выделяющую первый раз отдельное лицо или предмет без интерпретации их в плане признаков известности/неизвестности, существенности/несущественности конкретизации для слушающего, — функцию, сходную со значением слова «один» в таких случаях, как: «Одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне смерть от злой жены» (Лермонтов); «[Генерал] решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме» (Гоголь) и под. (мы отвлекаемся от стилистического отличия книжных некто, нечто, некий от нейтрального один).

Ср. «Некая муха летала по всем комнатам и громко хвастала тем, что сотрудничает в газетах» (Чехов. Сказка); «Некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок «Гамбургской газеты» (Пушкин); «Замышляю я нечто другое — Я загадку хочу предложить» (Некрасов); «Таня удивилась, почему молчит этот такой внимательный генерал... И вдруг увидела нечто такое, что заставило ее умолкнуть. Было что-то странное и тоскливое в этих умных, зорких глазах» (Казакевич); «Еще вчера он был таким же, как полгода назад, но сегодня вдруг в нем являлась некая новая черта» (Горький); «Левитан увидал в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности» (Паустовский); «— Город сквернейший, — сказал некто, похожий на Джона Фальстафа» (Горький). В таких случаях местоимения некто, нечто, некий могут контекстуально интерпретироваться в плане семантики всех других неопределенных местоимений, в том числе с -нибудь, ср. засвидетельствованное в «Словаре языка Пушкина» употребление нечто в значении «что-нибудь»: «Напиши мне нечто о Карамзине, ой, ых. Жуковском Тургеневе А. Северине Рылееве и Бестужеве И вообще о толках публики» [8, 857], ср. также употребление в значении «что-то» без подчеркивания признака неопределенности предметной отнесенности: «Водой подмыло берег, сверху нависла большая дерновина, под ней образовалось нечто вроде ниши» (Арсеньев); «Он явно был балованный слуга ленивого барина, нечто вроде русского Фигаро» (Лермонтов).

«Артиклевым» значением объясняется, на наш взгляд, и употребление нечто для субстантивации прилагательных и прича-

ствий, отличаясь от *что-то* отсутствием указания на предмет интуиции: ср. «А в нем рождается, растет *нечто* непостижимо огромное, полное гулкого ропота, оно дышит навстречу людям тяжелым, пахучим дыханием, и в шуме его слышно *что-то* грозное, жадное» (Горький); «*Нечто* отдаленно обидное почудилось ему в посетителях, которые не дали довести визит до какого-нибудь смягченного конца» (Федин); «В красоте природы есть *нечто* волшебного-действующее, проливающее успокоение даже на самые застарелые увечья» (Салтыков-Щедрин); «*Некое* беспокойство сквозило в ее глазах, движениях, походке» (Шолохов). Впрочем, здесь играет роль и стиливая принадлежность *нечто* к книжному пласту лексики.

Особую стилистическую, а не семантическую функцию несет *некто* при собственных именах. Толковые словари обычно характеризуют подобное употребление как указание на малоизвестного человека и иллюстрируют его примерами, которые вряд ли подтверждают это значение: «Он поднял голову — и узрел одного из своих многочисленных московских знакомых, *некого* Бамбаева» (Тургенев); «Выхожу, на лестнице попадается приятель, *некто* Н. Н.» (Григорович). «— Ты не сумел замолвить за меня словечко. Есть на свете, мол, такой маленький, преданный, неказистый дружок, *некто* Дульник» (Первенцев). На самом же деле, использование местоимения *некто* при собственных именах аналогично такому же использованию артиклей в «артиклевых» языках, где они приобретают часто пейоративную функцию. Собственно говоря, эту функцию при антропонимах имеют и другие неопределенные местоимения: «Всегда на дороге будет стоять кто-нибудь другой. Чужой, ненужный, неприятный. *Какой-нибудь* Цветухин» (Федин); «Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то, что *какой-нибудь* судья-собачник, или Земляника...» (Гоголь); «Она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для *какой-нибудь* Акульки» (Чехов); «[Загорецкий:] — Который Чацкий тут? — Известная фамилия. С *каким-то* Чацким я когда-то был знаком» (Грибоедов): «— По-вашему, Рудин Тартюф *какой-то*» (Тургенев).

В заключение отметим, что значение неопределенных местоимений в русском языке необязательно, как это принято считать, основывается на признаке известности/неизвестности для говорящего или слушающего участника события. Как показывает употребление соответствующих местоимений, семантическая зона неопределенности не покрывается только значением той или иной неизвестности, включая значения и несущественности конкретной определенности, и обобщенного предмета, и артиклевой функции. При этом, во всех случаях указание на неопределенность участника события всегда ориентировано на слушающего,

что еще раз свидетельствует о коммуникативной сущности языковой системы и, в частности, ее самой эгоцентрической подсистемы — местоимений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буслаев Ф. Ф. Историческая грамматика русского языка. М., изд. 3-е, 1869 [Синтаксис].
2. Дончева Л. Неопределительные местоимения и наречия от типа *-то* и типа *-нибудь* от гледище на синтактичните функции на контекстите им. «Език и литература», 1969, № 3.
3. Левин Ю. И. О семантике местоимений. — В кн.: Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.
4. Маловицкий Л. Я. Вопросы истории предметно-личных местоимений. «Местоимения». УЗ ЛГПИ им. А. И. Герцена. т. 517, Череповец, 1971. Здесь приведена почти полная библиография работ [около 20], посвященных русским неопределенным местоимениям. См. также: Янко-Триницкая Н. А. Местоименные слова со значением неопределенности. — ВЯШ, 1977, № 1.
5. Пулькина И. М., Захава-Некрасова Е. Б. Учебник русского языка для студентов-иностранцев, 4-е изд., М., 1968.
6. I. Rybák. Charakter opozície neurčitých zámen typu *кто-нибудь* -- *кого-то*. — «Československá rusistika», 1965, N 4.
7. Селиверстова О. Н. Опыт семантического анализа слов типа *все* и типа *кто-нибудь*. — ВЯ, 1964, № 4.
8. Словарь языка Пушкина, т. 2, М., 1957.

ОЧЕРКИ ПО ОБЩЕЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОНИМИКЕ

1. К метаязыку лингвистики: лингвонимы как особый класс терминов

А. Д. Дуличенко

Введение

«Очерки» являются итогом многолетних исследований автора, связанных с вопросом о выделении нового терминологического пласта в метаязыке лингвистики — лингвонимов, т. е. обозначений языков и всевозможных языковых разновидностей. Тематически «Очерки» делятся на две части.

В первой части рассматриваются вопросы общего характера. Так, в предлагаемом здесь очерке «К метаязыку лингвистики: лингвонимы как особый класс терминов» обосновывается необходимость выделения нового класса терминов, исследуется структура и состав лингвонимического знака в межъязыковом аспекте, устанавливаются основные источники формирования лингвонимов и определяется круг вопросов, требующих в лингвонимике неотложного решения. В следующем очерке предполагается рассмотреть соотношение лингвонимического и этнонимического как в плане содержания, так и в плане особенностей их выражения; особого внимания, как нам представляется, заслуживает вопрос о лингвонимическом аспекте лингвистических классификаций, т. е. вопрос о лингвониме как основной и единственной единице классификаций языков мира и некот. др.

Вторая часть «Очерков» историческая; в ретроспективном плане будет сделана попытка рассмотреть некоторые вопросы формирования и становления русской лингвонимии. Каждый из очерков посвящен лингвонимии конкретных языковых семей или групп, например, славянской лингвонимии, индоевропейской (кроме славянской) лингвонимии и т. д.

Часть I

Вопрос о метаязыке возникает стихийно или сознательно с самого начала развития науки. Уже в V в. до н. э. такой язык для описания фонетических и грамматических черт санскрита

был детально разработан древнеиндийским ученым Панини в его известном трактате «Aṣṭādhyāyī» («Восьмикнижие») ¹. XIX век дал метаязык сравнительно-исторического языкознания. Век нынешний поставил проблему языка науки вообще и лингвистики в частности особенно остро. В ряде конкретных лингвистических дисциплин появляются новые терминосистемы (например, «эмовая» для лексико-семантических описаний и др.), призванные адекватно отразить сущность описываемых объектов и отношений между ними. Однако до окончательной выработки метаязыка лингвистики еще далеко.

Если взять установившееся у нас деление языкознания на общее, частное и прикладное, то окажется, что, например, частная лингвистика — самый обширный раздел, обращенный к анализу нескольких тысяч конкретных языков и диалектов мира и дающий материал двум другим разделам, — не имеет строгого обозначения объекта своего исследования — языков. Положение, когда для называния понятых различий (в том числе и основного объекта) либо нет подходящих знаковых средств, либо таких средств слишком много (и, следовательно, они лишь приближенно отражают объект исследования и используются обычно синонимически), характерно не только для частного языкознания — поиски основного термина ведутся до сих пор, например, в географии, где вместо использовавшихся ранее *географическая оболочка, биогеносфера, антропогеносфера, ландшафтная сфера, геосфера, окружающая сфера и биосфера* предлагается новый термин *эпигеосфера*, введенный А. Г. Исаченко (1965 г.) ².

Основа любого лингвистического исследования — конкретные языки — оказывается лишенной строгого и точного обозначения. Так, по отношению к такому объекту, как *русский язык*, могут употребляться следующие знаки-определения; *термин, название, наименование, понятие, обозначение, выражение, словосочетание, определение, имя*; т. е. *термин «русский язык», название «русский язык»* и т. д. Если нет компонента *язык* (как, например, в случае с санскритом или латынью) — то *слово* и др. Расплывчатость и обобщенный характер перечисленных знаков не вызывает сомнения. Используясь синонимически, они не несут, следовательно, полной терминологической нагрузки. Это требует постановки вопроса о создании непротиворечивого термина (а также его производных и сопутствующих) как основного в пределах частного языкознания ³.

Таким термином представляется нам лингвоним, т. е. «название (или имя) языка», образованный от латинской основы *lingu(a)* «язык» и традиционно используемой в деформированном виде греческой основы *опот(a)* «имя», «название»; срав. широко распространенное конструирование гетерогенных (лат. + греч. и т. д.) терминов типа *патронимия, лингвогеография* и др.

Понятие лингвонима, однако, шире: мы включаем в него

также специальные обозначения единиц ниже уровня «язык», т. е. диалекты, поддиалекты, говоры, подговоры, а также различные языковые разновидности, остающиеся за пределами генеалогической классификации языков, например, смешанные и «тайные» языки, социальные диалекты, если они имеют специальные обозначения, и проч. Совокупность лингвонимов, т. е. сам лингвонимический материал, будем называть лингвонимией, а раздел, занимающийся изучением различных аспектов, связанных с лингвонимами, — лингвонимикой⁴.

Рассмотрению формальной и содержательной сторон лингвонимов и введению новых лингвонимических и сопутствующих терминов следовало бы предпослать небольшой исторический экскурс с целью показать появившуюся издавна практическую и теоретическую необходимость обращения к материалу, связанному с обозначением языков мира.

Наиболее ранние собрания лингвонимов относятся к XVI в. Появление их было вызвано, с одной стороны, стремлением свести воедино некоторый накопленный материал по различным языкам, с другой стороны, желанием расширить представление (хотя бы только по названиям!) о языковом многообразии мира. Так, в «Митридате» (1555 г.) швейцарского естествоиспытателя К. Геснера появляются сведения о более чем 20 языках и о сотнях[!] народов, пользующихся этими 20-ю языками; выходят «Образцы 40 языков и диалектов» («Specimena XL linguarum et dialectorum», 1592) и позднейшие сочинения в этом направлении немца И. Мегизера. В 1613 г. появилось сочинение К. Дюре по истории языков вселенной; только в заглавии этого трактата перечислено 55 имен языков.

Количественно возросший ассортимент языков (с минимальными сведениями о них) дает XVIII в. и особенно XIX в. Полиглоттика для многих становится одним из любимейших занятий. В вышедшем в Лейпциге в 1748 г. «Восточном и западном языковом указателе» («Orientalische und Occidentalische Sprachmeister») представлено уже 200 языков и диалектов; о 300 языках содержатся сведения в «Каталоге языков известных народов...» («Catalogo de las lenguas de las naciones conocidas...», 1794; в 1800—1804 гг. вышло 6 томов «Каталога») испанца Л. Эрвас-и-Пандуры. В 1806—1817 гг. в 6 книгах появился новый «Митридат, или всеобщее языкознание, с «Отче наш» в качестве языкового образца на почти 500 языках и диалектах» («Mithridates oder allgemeine Sprachkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in beynahe fünfhundert Sprachen und Mundarten») И. Х. Аделунга (начиная со второго тома, материал обрабатывал И. С. Фатер). В индексе языков этого сочинения примерно 1 200 единиц, правда, среди них немало топонимов и этнонимов. Аналогичными были четырехтомные «Основы языкознания» («Grundriss der Sprachwissenschaft», 1876—1888) Ф. Мюллера.

В XIX в. появляются обзоры и списки языков по отдельным районам земного шара.

В России интерес «ко всем языкам» проявила Екатерина II, при содействии которой вышел двухтомник «Сравнительные словари всех языков и наречий...» (под редакцией П. С. Палласа). В первом издании этого труда (1787—1789 гг.) содержался лексический материал по 200 языкам и диалектам, во втором (1790—1791 гг.) — по 272. Один из первых (если не самый первый) лингвонимических словарей был издан в Санкт-Петербурге в 1820 г.: это «Обзор всех известных языков и диалектов» («Uebersicht aller bekannten Sprachen und ihrer Dialekte») Ф. Аделунга, племянника сочинителя известного «Митридата» 1806—1817 гг. По «географическо-лингвистическому» признаку, как указывает автор, представлен список 3 064 лингвонимов, из которых 987 — азиатских, 587 [!] — европейских, 276 — африканских и 1214 — американских. Это лингвонимическое собрание содержало, конечно, массу путаницы, повторений или же просто фантастических сведений, тем не менее, как указывал в последней четверти XIX в. А. Ф. Потт, после его выхода число указанных здесь языков и диалектов мира повторялось почти во всех лингвистических работах⁵. Как бы то ни было, но подобные сочинения как в России, так и за рубежом, несомненно поверхностные, расширяли кругозор «языкоиспытателей» и содействовали становлению научного (в частности, сравнительно-исторического) языкознания.

В XX в. обзоры языков проводятся, как правило, на генетической основе (позади длительный путь развития сравнительно-исторического языкознания и изучения массы ранее неизвестных языков и диалектов мира). Таковы всеохватывающие работы Ф. Н. Финка («Die Sprachstämme des Erdkreises», 1909), В. Шмидта («Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde», 1926), А. Кикерса («Die Sprachstämme der Erde», 1931) и широко известный двухтомник «Языки мира» («Les langues du monde», 1924), созданный под руководством А. Мейе и М. Козна, а также японская «Всеобщая лингвистическая энциклопедия» («Сэкай гэнго гайсэцу», 1955 г.). Приложенные к этим работам указатели содержат приблизительно по 3 тыс. и более лингвонимов. Специально лингвонимической работой является изданный в Женеве «Каталог языков...» («Katalogo de lingvoj...», 1927) русского языковеда П. Е. Стояна. Следует также упомянуть «Словарь языков для разработки Всесоюзной переписи населения 1937 г.» (М., 1937) и аналогичный словарь за 1939 г. и некот. др.

Уже первые собиратели лингвонимов столкнулись с рядом трудностей, требовавших теоретического осмысления. У отдельных языков было отмечено наличие дублетных лингвонимов, зафиксировано частое соответствие между лингвонимом и этнонимом, был поставлен вопрос о происхождении «имени языка»⁶.

Авторы работ представленного выше обзора лишь попутно касались этих вопросов. Тем не менее становилось ясно, что лингвонимический материал — это специфичный пласт терминов, и он требует особого подхода. Многие языки до сих пор не имеют строгого и повсеместно принятого лингвонимического обозначения, причем за некоторыми лингвонимами часто скрывается определенная научная (и не только научная) позиция исследователя. В лингвистических пособиях и монографиях появляются целые разделы и главы, содержащие обзор бытующих лингвонимов и аргументацию авторов в выборе того или иного из них⁷. Языкам со сложной лингвонимической историей посвящены специальные работы. Так, много написано о лингвониме для первого литературного языка славянства⁸, для сербско-хорватского языка⁹; имеются статьи о лингвонимах для языков Кавказа¹⁰, турецкого языка¹¹, хиндустани¹² и др.

Таким образом, вопрос о выделении лингвонимов как класса лингвистических терминов и рассмотрение проблем, связанных с их формальной и содержательной сторонами, является давно назревшим и актуальным.

Если рассматривать структуру лингвонимического знака в межъязыковом аспекте, то окажется, что в одних языках он равен слову, т. е. является однокомпонентным, в других — словосочетанию, т. е. двухкомпонентен; имеются языки, совмещающие оба типа лингвонимического знака.

Прекрасной иллюстрацией первого типа лингвонимического знака являются языки банту. В системе именных классов существительных этих языков имеется специальный лингвонимический класс, правда, как частное проявление более общего класса, называемого обычно классом вещей, или предметов. Так, в суахили класс лингвонимов, входящий в более общий класс вещей, оформляется специальным префиксальным показателем *ki-* (перед гласным — *chi-*):

Kiswahili [орфографически также KiSwahili] — язык суахили,
Kifaransa — французский язык,
Kirussi — русский язык.

Подобным же образом оформляются и все 20 диалектов суахили: Kishela, Kipate, Kisiu, Kitakuu, Kingozi, Kiunguja, Chichifundi. По данным языкового обозрения А. Мейе и М. Коэна, лингвонимов банту с показателем лингвонимического класса *ki-* оказывается свыше 200¹³.

В языке юго-восточной группы банту — зулу показатель лингвонимического класса (также в составе более общего класса вещей) другой — *isi-*:

isizulu — язык зулу,
isisuthu — язык суту/суто,
isix'osa — язык коса.

Лингвонимический показатель *se-* в этой группе имеют языки суту/суто (*sesut'o*), чвана (*setshwana*) и педи (*sepedi*) и их диалекты (*semangwato*, *sekwena*, *sengwaketsi* и др.).

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что лингвонимическим классам в языках банту четко противопоставлены имеющие так же специальный префиксальный показатель этнонимические классы как одно из частных проявлений более общего класса, известного под названием «класс людей». Так, в суахили такая противопоставленность будет выглядеть следующим образом:

- | | |
|-------------------------|--|
| Kirussi «русский язык» | — Mrussi «русский [человек]»,
мн. ч. Warussi «русские»; |
| Kiarabu «арабский язык» | — Mwarabu «араб», мн. ч.
Waarabu «арабы» и т. д. |

Аналогичным образом в зулу:

- | | |
|---------------------------|---|
| isisuthu «язык суту/суто» | — umsuthu «человек племени
суту/суто», мн. ч. abesuthu
«люди племени суту/суто»; |
| isitshwana «язык чвана» | — umtshwana «человек племен
ни чвана», мн. ч. abetsh-
wana «люди племени чва-
на» и под. |

Преимущественно однокомпонентны лингвонимы во многих индоарийских и в ряде иранских языков индоевропейской семьи. В отличие от языков банту, здесь лингвонимическое значение выражается с помощью постфиксального показателя *-u* (*-ī*), срав. в индоарийских: хинди (*hindī*), маратхи, панджаби/пенджаби, раджастхани и проч. Таким же образом обозначаются и диалекты, например, языка синдхи: вичоли, сирайки, ласи, лари, тхарели, каччи. По данным монографии Г. А. Зографа, из приблизительно 167 лингвонимов, составляющих индоарийскую группу, 117 имеют показатель *-u*, 17 — показатель *-a* (типа пхалупа), 16 — показатель *-ья/-ия/-иа* (типа кхаспарджия, бахрупиа, лохбья) и некот. др.¹⁴ В иранских: балучи/балуджи «балуджский язык», курманджи «диалект курдского языка», фарси «персидский язык» и проч. Устранение лингвонимического показателя ведет к переводу лингвонима в класс этнонимов: балуч/балудж «балудж», курмандж «одно из курдских племен» и под.

Двукомпонентные лингвонимы довольно широко распространены в языках различных типов. Уместно будет несколько подробнее остановиться на рассмотрении их структуры и содержания. Лингвонимический знак этого типа состоит из двух компонентов: первый, уровневый, компонент удобно будет называть таксоном, а относящийся как определение к этому последнему — детерминативом. Совокупность таксонов, под

которыми понимаются основные термины общего языкознания типа «язык», «диалект/наречие», «говор» и под., составляет таксономический уровень; соответственно совокупность определений к тому или иному таксону образует детерминативный уровень лингвонима, или лингвонимического знака (например, «русский» по отношению к «язык», «севернорусское» — по отношению к «наречие» и под.).

В свете сказанного становится ясным, что однокомпонентные лингвонимы, характерные для ряда языков мира, не что иное, как лингвонимически оформленные (с помощью лингвонимических показателей — префиксов или постфиксов) детерминативы.

Термины «язык», «диалект» и под., перейдя в таксоны, т. е. оказавшись в составе лингвонимического знака, теряют свое обобщающее значение (содержание) и выражают вместе с детерминативом конкретную лингвонимическую единицу; срав. «язык» как общелингвистический термин и «язык» как составная часть лингвонима «русский язык».

Установление единиц таксономического уровня представляет известные трудности, обусловленные зачастую сложностью границ между территориальными разновидностями одного и того же языка или разных языков (это и привело, например, И. Шмидта, а вслед за ним Г. Шухардта и Г. Париса к отрицанию существования таких таксонов, как «диалект», «говор» и под.), степенью изученности того или иного языкового ареала, наконец, традициями, существующими в описательной лингвистике различных стран. Еще Э. Сепир заметил, что «термины: *диалект, язык, ветвь, семейство*, само собою разумеется, термины чисто относительные. Они будут меняться в зависимости от расширения или сужения нашей перспективы»¹⁵. Идущая от А. Шлейхера биологически ориентированная иерархия таксонов (говоры — разновидности подвидов, диалекты или наречия — подвиды, языки — виды, относящиеся к одному и тому же роду, и т. д.) в применении к индоевропейским и некоторым другим языкам остается в основе неизменной, хотя в каждом конкретном случае поколения исследователей пытались преодолеть часто возникавшее противоречие между таксономической иерархией «в идеале» и конкретным языковым материалом. Обзор работ по членению языковых областей показывает либо синонимическое использование ряда таксонов, либо более или менее различное их наполнение. Так, в таксономической иерархии ниже уровня «язык» следующая по величине единица, в зависимости от традиции или установок автора, может синонимировать с единицами более низкого порядка, например: *диалект/наречие* = *говор, говоры*. В некоторых работах вместо «диалект/наречие» используются таксоны «диалектная база» или «диалектная зона», хотя следует всячески приветствовать помещение их между единицами уровня «язык» и уровня «диалект/наречие».

Несмотря на неупорядоченность в использовании таксонов указанного уровня, имеются все же основания представить в общих чертах их иерархию таким образом: *язык — диалектная база/диалектная зона — диалект/наречие — поддиалект/поднаречие/говоры — говор — подговор*. Четкости границ между этими единицами и их последовательности может и не существовать в той или иной конкретной языковой действительности. Так, по отношению к отдельным языкам иерархия ниже уровня «язык» может не сработать вовсе: имеются в виду так наз. бездиалектные языки, как, например, сингальский, в котором, как утверждают исследователи, «о диалектах.... можно говорить чисто условно»¹⁶.

Некоторые исследователи малоизвестных языков избегают использования таксонов «язык», «диалект/наречие», «говор» до того, как они будут определены применительно к каждому конкретному случаю; взамен ими употребляется таксон «идиом»¹⁷. Наконец, известна попытка В. А. Богородицкого избежать использования в широком лингвонимическом значении таксона «язык»: вместо «французский язык» он писал «говоры французские с литературным языком французским» и под. (довольно не последовательно, срав. тут же: «язык провансальский»!)¹⁸. Кажется, это идет от И. А. Бодуэна де Куртенэ, который, отметив нелепость названия преподававшегося в университетах России предмета «Русский язык и славянские наречия», предлагал «применять термин «язык» только к языкам литературным, нормированным, избегая этого термина тогда, когда дело идет о комплексе родственных говоров... В этом последнем смысле, — писал он, — мы будем употреблять названия: *языковая область, языковая территория, группа говоров*»¹⁹. Однако верно подмеченное различие не было удачно терминологизировано.

Что касается таксономических единиц выше уровня «язык», то и здесь нет единого понимания в их обозначении и иерархии. В. А. Богородицкий, например, считал славянские языки «семьей», «говоры сербо-хорватские, словинские и резьянские» — «пятой ветвью в этой семье»; «ветвь чешско-словацкая» распалась на «группы чешско-моравскую и словацкую или угро-словенскую» и т. д.²⁰ В современной армянской диалектологии таксон высшей иерархии «ветвь» (в форме «диалектная ветвь») используется для обозначения того, что мы обозначили, как «диалектная база/диалектная зона»²¹.

Указывая на трудности стилистического и словообразовательного порядка, против «биологического» таксона «семья языков» высказался в свое время А. Чикобава, предложив, однако, взамен него не менее «биологичное» таксономическое выражение «языки одного корня»²². Выход здесь, как нам представляется, один: необходимо к таксонам высшего порядка (к их «ядру», стержневому слову) приставить элемент *лингво-*, и тогда таксо-

номическая иерархия на этом уровне может в идеале принять следующий вид (от мелкой единицы к более крупной): *лингвогруппа* (вместо: *группа языков, языковая группа*) — *лингвововетвь* — *лингвосемья*. Поскольку вторую часть приведенных основных единиц часто осложняют префиксами *под-* или *над-* с целью дробления названных единиц или их объединения, то возможны таксоны типа: *лингвоподгруппа, лингвоподсемья, лингвонадсемья*²³.

Этим способом мы сделали более терминологичными лингвонимы типа *индоевропейская лингвосемья* (вместо нетерминологичных: *индоевропейская семья языков, семья индоевропейских языков, индоевропейская языковая семья*), *славянская лингвогруппа* и т. д.²⁴. Условимся обозначать лингвонимы выше таксономического уровня «язык» общим термином *макролингвонимы*. Заметим только, что о макролингвонимах можно также говорить, начиная с уровня «язык» и ниже. Это частный случай, когда язык по отношению к своим диалектам, а диалект по отношению к говорам выступают как макролингвонимы. В этом смысле аналогично можно обнаружить в этнонимии, срав. макроэтноним *ньяка* (или *миджикенда*), являющийся общим названием для ряда северо-восточных прибрежных племен Кении — *диго, гирьяма, джибана, рибе, дурума, рабаи, чоньи, каума и камбе*. Макролингвонимом будет *эскимосский язык* (иногда — *общеескимосский язык*), поскольку в него входит конгломерат нескольких эскимосских языков и диалектов; срав. также лингвоним *сакский язык* как общее название для ряда языков и диалектов — *хатаносакский язык, тумшукскосакский язык/диалект, «кашгарскосакский» язык*; наконец, *язык мандинго* — как макролингвоним для языков: *малинке, бамбара и диула*.

Лингвонимы структуры «детерминатив + таксон» (порядок следования компонентов может быть иным) присущи, например, большинству малайско-полинезийских языков, срав.:

bahasa Indonesia	— индонезийский язык,
bahasa Melaju	— малайский язык,
basa (w)úgi'/basa toúgi'	— бугийский язык и др.,

где таксонами являются соответственно *bahasa* и *basa*.

Однако для многих языков более характерна ситуация, когда оба типа лингвонимического знака присутствуют в том или ином языке. Здесь следует различать, по крайней мере, два случая:

- 1) один и тот же язык может быть обозначен и одно- и двухкомпонентным лингвонимом;
- 2) некоторые лингвонимы выступают либо только как двухкомпонентные, либо как одно- и двухкомпонентные.

Первая особенность характерна, например, для чешской лингвонимии:

чешский язык: čeština — český jazyk;
арабский язык: arabština — arabský jazyk.

Срав. также в словенской лингвонимии:

словенский язык: slovenščina — slovenski jezik;

итальянский язык:

italijanščina — italijanski jezik;

в немецкой:

польский язык: Polnisch — (die) polnische Sprache;

русский язык: Russisch — (die) russische Sprache;

в турецкой:

турецкий язык: Türkçe — türk dili;

немецкий язык: Almança — alman dili.

В приведенных примерах компоненты jazyk, jezik, Sprache, dil(i) являются таксонами уровня «язык».

Русская лингвонимия в известной степени отражает второй случай. Так, давно употребляемые и хорошо усвоенные лингвонимы обычно двукомпонентны: *французский язык, китайский язык, южнорусское наречие* и проч. По-видимому, русские лингвонимы зародились как двукомпонентные, на что указывает не только факт двукомпонентности наиболее распространенных лингвонимов, но также наличие лингвонимондных выражений типа: *язык половцев, язык татар*; срав. также особенность лингвонимического оформления в начальный период русской диалектологии (начало XIX в.): *наречие Вологодской губернии* и проч. (т. е. таксон + этноним, таксон + топоним и под.)²⁵. Выражения типа *по-русски, по-шведски*, по-видимому, не отражают полноты лингвонимического значения, как в случае, например, тюркских языков (ср. первый ряд приведенных ранее примеров из турецкой лингвонимии).

В старых русских двукомпонентных лингвонимах детерминатив представляет собой прилагательное с наиболее типичным для нашего случая суффиксом *-ск-*; суффикс *-ическ-*, популярный в XVIII и XIX вв. (ср.: *кимвrichеский, коптический, иллирический, кельтический и цельтический*), можно считать архаическим — его повсеместно вытеснил суффикс *-ск-*, срав.: *коптический > коптский, кельтический > кельтский, дравидический > дравидские* и т. д. В последнее время, правда, заметна тенденция к активизации суффикса *-ическ-*, однако только в составе макролингвонима, срав.: *океанические (языки), амбическая (подсемья)* и др.

Небольшая группа однокомпонентных русских лингвонимов с малоупотребительным суффиксом *-щин(а)* образует как бы мост к чешской, словенской и другим лингвонимическим системам аналогичного типа: *чакавшина, кайкавшина* и их двукомпонентные соответствия: *чакавский диалект, кайкавский диалект*; срав. также: *скандинавшина, славенищина/славянищина* (помимо

лингвонимического значения, лексемы данного типа могут также выражать собирательное значение, т. е. *чакавщина* — это и чакавский язык или диалект, и чакавская культура, и чакавская традиция и т. д.; они могут также выполнять стилистическую функцию). К этой же группе примыкает и лингвоним *латынь*, образованный, по-видимому, посредством усечения и небольшой фонетической деформации латинского детерминатива, срав: (lingua) latina.

Но самой многочисленной оказывается группа лингвонимов, появившихся в связи с изучением новых языков и диалектов, преимущественно восточных. Большинство из них двукомпонентны, т. е. состоят из изначальной детерминативной формы и соответствующего таксона (в отличие от хорошо усвоенных двукомпонентных лингвонимов, здесь таксон находится в препозиции по отношению к детерминативу): *язык кате*, *язык грагед* (*гедэгед*, *рагетта*), *язык моту* — папусские языки; *язык ашкун*, *язык башгали*, *язык гарви* — дардские языки. Подобные лингвонимы могут приобрести «более русский» вид, если поменять местами таксон и детерминатив, а последний также усложнить суффиксом *-ск-*, срав. использование в двух видах лингвонимов типа:

язык непали	— непальский язык,
язык маратхи	— марат(х)ский язык,
язык бенгали	— бенгальский язык.

Правда, далеко не всегда легко «русифицировать» лингвонимы этой группы: часто просто невозможно с точки зрения русского языка присоединить суффикс к изначальной детерминативной форме либо из-за специфичности ее конца, например: *язык идо*, но невозможно *идоский язык*, *язык урду*, но нет формы *урдуский язык* (заметим, что в последнее время от *банту* стали употреблять форму *бантуские* /языки/); либо из-за специфичности фонетического состава детерминатива в целом, срав. языки Океании: *саа*, *кварааз*, *кваио*, *ишаа*, *иаи*; срав. также детерминативы лингвонимов: *язык и*, *язык мяо* и под.

«Обжитые» лингвонимы этой группы могут употребляться в изначальной детерминативной форме, т. е. формально они однокомпонентны, хотя имплицитно в них все же присутствует представление о таксоне: (*язык*) *хинди*, (*язык*) *суахили*, (*язык*) *зулу* и т. д. Срав. названия лингвистических статей типа «К вопросу о литературной норме в хинди» и т. д.

Еще более имплицитным оказывается таксон, если подобные лингвонимы распространить определениями, выражающими степень обработанности, сферу употребления или хронологию фиксации того или иного языка, срав.: *литературный пушту*, *мусульманский урду*, *индуистский хинди*, *классический* (также: *ведический*, *эпический*) *санскрит* и проч. Аналогичная ситуация при

использовании метафорических способов выражения лингвонимических значений: *славянский санскрит* — *славянская латынь* — *славянское эсперанто* вместо *старославянский язык/церковно-славянский язык*. СРАВ., однако, случай с хорошо освоенными, старыми двухкомпонентными лингвонимами: *современный русский язык*, *литературный сербско-хорватский язык* и под.

Касаясь структуры лингвонимического знака вообще, заметим, что, по-видимому, в большинстве языков мира макролингвонимы двухкомпонентны, срав.:

русск.: славянские языки /= славянская лингвогруппа/,
словен.: slovanski jeziki,
немец.: die slavische Sprachen и др.

Причем, макролингвонимы с предложенными нами ранее таксономическими единицами выступают в обоих своих компонентах в единственном числе (ср.: *романская лингвогруппа*), в то время как при замене указанных таксонов обобщенным «языки» составные части макролингвонима переводятся в форму множественного числа (срав.: *романские языки*), а сам макролингвоним оказывается вне таксономической иерархии.

Источники образования лингвонимов довольно разнообразны. (Здесь и далее речь идет, конечно, об источнике происхождения детерминативного компонента лингвонимического знака). Для ранних этапов истории человечества характерен был синкретизм лингвонимического и этнонимического значений, на что указал в свое время Ф. Энгельс: «В действительности племя и диалект по существу совпадают»²⁶. И. А. Бодуэн де Куртенэ, отмечая этнонимическое значение как одно из значений термина «язык», ссылается, в числе прочих источников, на пример Священного писания, где лингвоним «язык самаритянский» использовался в значении «самаритяне»²⁷. Отсюда ведет свое начало подмеченное еще на заре развития научного языкознания частое соответствие между этнонимом и лингвонимом (между «именем народа» и «именем языка») ²⁸. Такое соответствие было одной из причин распространенного в XIX в. мнения о тождестве понятий «язык — народ», «говоры — народность», т. е. тем самым о тождестве лингвонимов и этнонимов ²⁹.

Соответствие этнонима лингвониму наблюдается тогда, когда последний имеет этнонимическую мотивировку, т. е. образован на базе этнонима, срав.:

немец — немецкий язык,
араб — арабский язык,
словак — словацкий язык и под.

Такое соотношение распространено довольно широко. Следствием сложности языковой и этнической истории человечества явилось достаточно часто наблюдаемое несоответствие между

этнонимом и лингвонимом. Так, в Непале *бхоты* (этноним) пользуются диалектом *кхим* (лингвоним), а *шерпы* — диалектом *кангба*³⁰. В Камеруне племена *бабаджу*, *багам*, *бафусам*, *бангангте* говорят соответственно на языках *тсасо*, *тсоган*, *фулсан*, *нджубога*³¹. Срав. также противопоставление лингвонима этнониму в высказывании таджиков долины Пянджшер (к югу от Гиндукуша): *lafz-i mo porsiwon, xadamo — tojik* «язык наш — фарси, сами мы — таджики»³². То же характерно и в ситуациях в связи с различными языковыми разновидностями, претендующими (часто не без успеха) на роль полноценных языков:

1/ Так наз. *мужские* и *женские языки*, о которых писал Ж. Вандриес (ссылаясь на Л. Адама, 1879 г.); «У караибов мужчины говорят *по-караибски*, а женщины *по-аровакски*»³³;

2/ *Социальные языки*, как у яванцев, у которых стоящий на высшей ступени социальной лестницы обращается к подчиненному на языке *нгоко*, последний же отвечает на языке *кромо*³⁴;

3/ *Смешанные языки* контактов: *кяхтинское наречие* (русско-китайская языковая смесь, некогда употреблявшаяся торговыми людьми), *russenorsk* «русско-норвежский язык» (использовался русскими и норвежскими рыбаками), *кихинди* (исковерканный суахили, используемый в общении индийцев и суахилийцев).

В приведенных примерах этнониму соответствуют два лингвонима (первый и второй случай), либо, наоборот, одному лингвониму противопоставлены два этнонима (третий случай).

Несколько особняком стоят так наз. пиджины, или креольские (или креолизированные) языки, среди которых в Африке известны: *килета*, *китуба* (*монотуба*), *кисетла*, *фанагало*, *санго* и др.; в Океании: *бич-ла-мар*, *нео-соломоник*, *пиджин инглиш* в Папуа, называемый также *новогвинейский пиджин*, или *неомеланезийский язык* (пользуются 530 тыс. человек; около 10 тыс. считают его родным языком), *полис-моту* (владеет около 120 тыс. человек) и др.³⁵ Здесь лингвониму нет определенного этнонимического соответствия, хотя не следует сбрасывать со счета наметившуюся тенденцию к лингвонимическому и этнонимическому сближению (срав. пиджины, ставшие родными языками). Наиболее ярким примером отсутствия одного из компонентов противопоставления — этнонима — могут служить международные искусственные языки: *волапюк*, *эсперанто*, *идо*, *интерлингва* и др.; то же в случае с так наз. мертвыми языками.

Приведенный материал показывает, насколько ошибочно часто высказываемое мнение о том, что каково имя народа, таково и имя языка.

Другим источником образования лингвонимов являются различные географические обозначения, например, местонахождения или направления: *южный*, *восточный* ..., *центральный*, *верхний* ..., *горный* и проч. На этой основе образуются преимущест-

венно лингвонимы начиная с таксономического уровня «диалект» и ниже³⁶: *восточный диалект, западный говор* и т. д., также *северо-западный говор* и под. Лингвонимы с такими немаркированными детерминативами представляют, конечно, практическое неудобство, однако методом развертывания и такие лингвонимы могут быть наполнены конкретным содержанием, срав.: *западное наречие верхнелужицкого языка, восточные говоры южно-русского наречия русского языка* и т. д. Срав. ситуацию, когда с целью выяснения терминологического значения слова, известного общему языку, используется соответствующий контекст.

Однако наиболее многочисленна группа лингвонимов, которые сформировались на базе различных видов топонимов. Здесь так же количественно преобладают лингвонимы с таксонами ниже уровня «язык». Так, среди говоров чжуанского языка часть имеет лингвонимы топонимической мотивировки: *люцзян, лайбинь, тяньдун* и др. (от названий уездов *Люцзян, Лайбинь, Тяньдун*). «Диалекты хинди, как правило, именуются по территории своего распространения, например, авадхи — это диалект Авадха, бходжпури — диалект области, центром которой является городок Бходжпур...»³⁷.

Лингвонимы таксономического уровня «язык», образованные на основе топонимов, распространены в Океании: *нгуна* (<о-в Нгуна), *давлоор* (от одного из о-вов — Давлоор, хотя язык распространен и на о-ве Давра), *эрай* (<дер. Эрай), *дамар-батумерах* (<о-в Дамар + дер. Батумерах, расположенная на этом о-ве) и т. д. Весьма необычна топонимическая мотивировка лингвонима *язык бист* (по другой терминологии — диалект языка панджаби *доаби*), образованный в результате синкопированного стяжения названия двух рек — Биас и Сатлудж, между которыми и распространен язык³⁸.

Для лингвониими особую ценность представляют лингвонимы, не связанные происхождением с отмеченными ранее источниками. Именно на примере таких лингвонимов, о которых пойдет речь, наглядно вырисовывается автономность класса анализируемых терминов. Это лингвонимы, источником образования которых были:

1/ Собственно языковые (обычно фонетические или лексические) особенности: три диалекта сербско-хорватского языка и два говора восточнословацкого диалекта словацкого языка названы по специфическому обозначению в них местоимения «что» — што (*što*), кай (*kaj*) и ча (*ča*), т. е. *штокавски/штокавщина, кайкавски/кайкавщина, чакавски/чакавщина*; so и со (*so*), т. е. *sofacké nářečie, cotacké nářečie*. Срав. также лингвонимы ряда африканских языков, созданных воспроизведением характерных словечек или выражений типа «я говорю»: *меномо, нгемба, могамо* и проч.; лингвоним *готтентотский язык* произошел, как полагают, от слова *hottentüt* «зайка», данного первыми голландскими

поселенцами на юге Африки местным племенам, в языках которых имеются так наз. щелкающие звуки.

2/ Слова, выражающие степень обработанности-необработанности языковой системы, срав. в индийской традиции: *санскрит* < samskr̥ta «обработанный», «усовершенствованный» — ему противопоставлялись *пракриты* < prakṛta «естественный», «обычный» и *апабхраниша* < apabhraṃṣa «испорченный язык». Лингвоним диалекта *кхари боли*, лежащего в основе хиндустани, переводится как «устойчивый, стандартный язык». Срав. также в китайской традиции: *байхуа* «белый, простой (язык)», противопоставлявшийся старописьменному *вэньяню*.

3/ Слова, выражающие назначение, сферу применения языка и т. д.: в России в XVIII в. и позднее для первого литературного языка славян употреблялся, наряду с другими, лингвоним *церковный язык*; в начале XX в. Р. Ф. Брандтом он был хронологически маркирован элементом *старо-*: *староцерковный язык*, а в противовес ему язык современной русской церкви — *новоцерковный язык*³⁹. Срав. также лингвонимы (*забан-е*) *урду* «язык армии, войскового базара», *язык дари* < персид. dar «двор», т. е. «дворцовый, придворный» в значении «чистый, изящный (язык)».

4/ Другие лингвонимы: *язык эфате-нгуна-тонгоа* на Новых Гебридах — образован на основе лингвонимов трех его главных и близких между собой диалектов; *язык фарси-кабули* — от лингвонимов *фарси* + *кабули*. Срав. также специфичные образования типа *франглэ, энгланьол/ингланьол*, образованные комбинацией двух известных лингвонимов: *franglais* < франц. français + anglais, *Englañol* < англ. ENGLISH + испан. español и др.

Источники образования лингвонимов, конечно, не исчерпаны, срав., например, мотивировку лингвонимов, выражающих международные искусственные языки: *волапюк* «язык мира», *эсперанто* «надеющийся», *идо* «потомок», *интерлингва* «межъязык», «международный язык» и т. д.; бытующий в устье реки Конго пиджин *килета* «государственный язык» создан с помощью лингвонимического префикса *ki-* и французского слова l'état.

Что касается макролингвонимов, то их происхождение также связано с этнонимами (ср. *тюркские языки*), топонимами (ср. *кавказские языки*). Значительное число макролингвонимов образуется процедурой перевода видового лингвонима, т. е. собственно лингвонима, например, *тайский язык*, в родовой лингвоним, т. е. макролингвоним *тайские языки*. Срав. также *турецкий язык* — устар. *турецкие языки* (= *тюркские языки*), *язык сонгаи* — *лингвогруппа сонгаи* и т. д. Реже случаи образования макролингвонимов на базе языкового признака, срав. устар. *щелкающие языки* (= *койсанская лингвогруппа*). Специфичными в области макролингвонимов являются образования на

мифологической (*яфетические языки* < *яфетический* < *Яфет*) и антропологической основах (срав. устар. *негрские языки*).

История происхождения и развития лингвонимов — это в известной степени и история изучения языковой картины мира, по отношению к отдельным языкам — история изучения этих языков. Речь идет в первую очередь о языках, для обозначения которых использовались и используются не один, а несколько лингвонимов. Так, во французском обзоре «Языки мира» отмечено 10 лингвонимов для языка *фула* (fula, peul, pular, fulfulde, ful'bere, ful, pul, fulāni, fellata, fellāniya), 11 — для языка *занде* (zānde, azānde, n'amn'am, man'an'a, omad'aka, babuŋgera, makkarakka, makraka, makarka, makalaka, digga), 12 — для языка *канури* (kanuri, bornu, barnu, baribari, balibali, aza, kaga, kagaŋan, zanzanti, bino, mafak, kaniki и далее следует etc.)⁴⁰. Весьма интересную страницу в истории русской лингвонимии представляет санскрит. В XVIII в. для его обозначения используются самые разные лингвонимы (во всех случаях мы сохраняем оригинальное их написание). По-видимому, одним из первых обозначений этого языка был лингвоним *браминский язык* (вторая половина XVIII в.), затем *Ганскрит* (1759 г.), *самшкрутанский язык* в «Сравнительных словарях всех языков и наречий» (1787—1789 гг.), *индостанский язык* и *Гентусский язык* в бумагах П. С. Палласа, «*Браминский язык*, называемый *Санскритта*» (1788 г.), *Индѣйский язык* у Н. М. Карамзина (1792 г.; позднее в «Истории государства Российского», 1816 г., говорится о различии «между *Индѣйским*, *Санскритским* и нашим языком!»), *Индостанской язык* (1798 г.). О том, насколько смутны были в России сведения о санскрите в начале XIX в., говорят и такие лингвонимы: первый русский индолог Г. Лебедев называет его (1801 г.) «*шамскрит* (Shamscrit), иначе *Деб* или *Деб Нагор*» (т. е. отождествляя с письменностью деванагари), а позднее (1805 г.) *шомскрит*, «*Шомскритский язык*, иначе называемый *Деб накѳор* (т. е. деванагари!) или *Пронкрито* (т. е. пракриты!)»; в работах других авторов: «*Самскрет* или *Самскрит*» (1811 г.), *Санскрит* (1812 г.), *Санскритский язык* (1812—1817 гг.; и тут же: *Брахманский язык* как особый язык!), *Индѣйский язык* и *Санскритский язык* (1821 г.), «*язык Самскретский* или *Самшкрутанской*», также *Самскретское наречие* (1821—1822 гг.), *Самскрит* (1823 г.) и др. Примерно к середине XIX в. лингвоним *санскрит/санскритский язык* получает наибольшее распространение. Правда, вслед за этим появляется еще один лингвоним — *древнеиндийский язык* (также: *древний индийский язык*, *древний индоарийский язык*). Оба лингвонима синонимически использовались вплоть до середины XX в., когда рядом исследователей была доказана неправомерность употребления

последнего в значение санскрита, так как, помимо собственно санскрита, он включает в себя также и ведийский язык ⁴¹.

Многочисленность лингвонимов, касающихся одного языка, — показатель сложного процесса развития и расширения сведений о том или ином языке. Следует, однако, к таким лингвонимам подходить дифференцированно. Так, среди перечисленных лингвонимов для языка занде можно выделить три группы:

а/ zānde, azānde;

б/ makkarakka, makraka, makarka, makalaka;

в/ n'amn'am, man'an'a, omad'aka, babuñgera, digga.

О лингвонимах групп *а* и *б* будем говорить, как о вариантах одного и того же лингвонима; в случае же *в* речь идет о лингвонимических дублетах ⁴². Иными словами, лингвонимические варианты — это различия между двумя и более детерминативами лингвонимического знака на уровне фонетики (срав.: makkarakka, makraka, makarka, makalaka), а также словообразования (срав.: санскрит — санскритский язык; для языка канури: kaga — kagaʔan и др.). Что касается лингвонимических дублетов, то различия между ними глубже; это прежде всего различие детерминативных корней, т. е. это разные слова (срав. для языка занде: n'amn'am, omad'aka, babuñgera и др.; по отношению к этим последним вариантные ряды занде так же являются дублетами).

Совершенно очевидно, что по отношению к языкам, имеющим целый арсенал лингвонимических знаков, в разное время могут использоваться различные лингвонимы. Здесь мы подошли к вопросу об активном и пассивном употреблении лингвонимов. Среди вариантов и дублетов, ориентированных на один язык, диалект и под., целесообразно выделить актуальные лингвонимы, т. е. общепринятые и общеупотребительные в данное время (из приведенных ранее примеров таковыми будут: *фула, занде, канури, санскрит и санскритский язык*) и неактуальные, или лингвонимы-архаизмы [на уровне вариантов ими будут: *самшкрутанский язык — Санскрита — шамскрит (шомскрит) Шомскритский язык — Самскрет/Самскретский язык — Самскрит/Самскрит*; на уровне дублетов: *браминский язык — Гентусский язык — Индостанской язык [Индъйский язык] Индейский язык* и отмеченный вариантный ряд]. Следует уточнить, что по отношению к одному языку на данном этапе может употребляться несколько актуальных лингвонимов, как, например: *голландский язык — нидерландский язык, афганский язык — пушту* и др.

Наличие лингвонимических вариантов и дублетов является одним из проявлений эволюционных процессов в лингвонимии. Причем, на ранней стадии изучения языков ассортимент лингвонимических знаков для обозначений одного и того же языка или

диалекта может быть достаточно великим. В связи с прогрессом в изучении лингвистической карты мира (накопление материала, усовершенствование методов исследования и под.) лингвонимическая вариантность и дублетность проявляют тенденцию к сокращению (срав., например, случай с санскритом).

Причины возникновения лингвонимических вариантов и дублетов могут быть разными в каждом конкретном случае. Так, 10 лингвонимических знаков для языка *фула* появились как результат того, что:

1/ исконные носители, живущие в разных областях, по-разному именовали свой язык (на западе — *пулар*, на востоке — *фульфульде*);

2/ соседние народы давали ему свои имена (серер называют этот язык *пель*, арабы — *фулани* и т. д.);

3/ смешивалось самоназвание народа с названием языка, т. е. этнонима (например, *фульбе*) с лингвонимом;

4/ в европейской науке, в зависимости от национальной традиции, получали преобладающее использование разные лингвонимы (в немецкой — *фуль*, во французской — *пель* и т. д.)⁴³.

Распространившаяся в последние годы в африканистике тенденция к преимущественному употреблению лингвонима *фула* как наиболее нейтрального и охватывающего всю языковую область в целом способствует очищению лингвонимии от наносного, случайного и ошибочного⁴⁴.

Появление дублетов и вариантов нередко обусловлено социально: срав., например, положение лингвонима *украинский язык* в дореволюционной России, когда вместо него в официальных сферах чаще всего использовались лингвонимы: *малорусский язык*, *малорусское наречие*, *малороссийский язык*, *малоросийское наречие*, *южнорусское наречие* и проч. Примеров социальной обусловленности лингвонимов можно было бы привести достаточно много.

Дублетно-вариантные лингвонимы появляются под влиянием ряда других причин. Так, неизбежна лингвонимическая вариантность, вызванная процессом освоения того или иного лингвонима, т. е. приспособлением его к нормам использующего языка, срав. процесс русификации лингвонимов типа *язык непали* — *непальский язык*, *язык тамили* — *тамильский язык* и под. Недавно появился новый лингвоним-вариант *вьетский язык*, имеющий этнонимическую мотивировку, — от *вьеты*, основного народа Вьетнама, срав. *вьетнамский язык* с топонимической мотивировкой — от *Вьетнам*⁴⁵. Появляются варианты и в связи с тем, что в одном случае лингвоним взят в оригинальной детерминативной форме, в другом — калькирован, срав. в немецком: *Belorussisch*, но *Weißrussisch* и др.

В лингвонимии, таким образом, действуют две диалектически противоречивые тенденции: с одной стороны, тенденция к сокра-

щению числа дублетно-вариантных лингвонимов, с другой — к рождению все нового числа, особенно вариантов. На примере лингвонимов *вьетский язык* и *вьетнамский язык* замечен процесс перестройки мотивирующих основ.

Эволюционные процессы в лингвонимии связаны не только с указанными тенденциями. Новейшие исследования показали, что, например, никаких хамитских языков не существует, и макролингвоним *хамитские языки* начинает выходить из употребления. Макролингвоним *шахдагские языки* использовался для обозначения будухского, крызского и хиналугского языков, когда не были известны генетические связи между этими языками. Когда же было установлено, что будухский и крызский относятся к лезгинской лингвогруппе, а хиналугский занимает особое место, макролингвоним *шахдагские языки* стал излишним⁴⁶.

Таким образом, фонд русской лингвонимии, с одной стороны, в связи с все новыми и новыми описаниями языков и диалектов пополняется, причем количественное соотношение лингвонимов на разных таксономических уровнях было и остается неодинаковым: самый низший уровень таксономической иерархии количественно обычно прогрессирует, срав. язык, имеющий 40 диалектов (говоров) как словенский, 60 — как армянский, 76 — как кашубский и т. д.⁴⁷; процесс количественного затухания направлен, следовательно, к высшему уровню таксономической иерархии, т. е. к макролингвонимам. С другой стороны, фонд русской лингвонимии численно сокращается, что видно на многочисленных примерах, приведенных нами ранее.

Претерпевает эволюцию и содержательная сторона лингвонимического знака. Достаточно сослаться на господствовавшие в российской науке XVIII — начала XIX в. сармато- и кельто(цельто)мании, когда возможны были заявления типа: «язык Цельтской есть язык Славенской», «Сарматский, т. е. Славяно-Русский язык» и проч.⁴⁸; срав. также упомянутый ранее случай с санскритом, иногда неверно называемом *древнеиндийский язык*, и др.

Представленный здесь анализ структуры и содержания, происхождения и развития лингвонимов как особого класса терминов в метаязыке лингвистики не исчерпывает всей проблематики. В лингвонимике еще предстоит решить ряд вопросов теоретического и прикладного характера. Важно, например, выделить объективные критерии выбора того или иного лингвонима из множества дублетов и вариантов. В цитировавшейся нами статье по кавказским лингвонимам авторы использовали несколько оснований такого выбора:

1/ лингвоним мотивирован и этнонимом, и топонимом (крызский язык);

2/ лингвоним создан на базе этнонима (занский язык);

3/ лингвоним мотивирован топонимом (гунзибский язык).

В ряде случаев эти авторы вынуждены были считаться с критериями наибольшей употребительности и традиционности использования лингвонима, как в случае с дидойским языком⁴⁹. В одном из очерков известной серии «Языки народов Азии и Африки» эти же критерии оказались решающими при выборе традиционного макролингвонима *семитохамитские языки*, хотя в предисловии очерка автор разъясняет, что лингвоним *хамитские языки* отброшен наукой⁵⁰.

Нет сомнения в том, что набор таких критериев может меняться от одной лингвогруппы к другой. Как при выборе существующего, так и при введении нового лингвонима важно учитывать его близость к лингвониму (детерминативу) языка-оригинала, что далеко не всегда принимается во внимание исследователями. В русской и европейской африканистике широко распространено использование лингвонимов банту без префикса лингвонимического класса: *суахили* вм. *кисуахили*, *конго* вм. *киконго* (то же относится и к этнонимам: *конго* вм. *баконго*). Это требует обязательной постановки соответствующего таксона (*язык конго*, *племя конго*), что практически не всегда представляется удобным. С точки зрения языка-оригинала, слова типа *суахили*, *конго* лишены лингвонимических и этнонимических значений и представляют собой «сырой» материал, оформление которого соответствующим префиксом может перевести его либо в класс лингвонимов, либо в класс этнонимов. Префиксальное оформление таких лингвонимов кажется целесообразным и за пределами языка-оригинала. Это условие способствовало бы также большей интернационализации лингвонимического фонда метаязыка лингвистики.

Необходимым представляется также соблюдать, когда речь идет о хорошо известных языках, таксономическую стабильность: недопустимо, на наш взгляд, сосуществование лингвонимов типа *верхнелужицкий язык* и *верхнелужицкое наречие* (право на существование первого давно доказано). Не лингвонимичны в языковых классификациях выражения типа *норвежский с исландским*, *польский с кашубским* и проч. До сих пор не унифицировано правописание многих лингвонимов, что создает определенные трудности пользования ими, срав. детерминатив лингвонима *сербско-хорватский язык* — *сербскохорватский язык* — *сербо-хорватский язык* — *сербохорватский язык*. Представляется малополезной попытка возродить лингвонимы-архаизмы, как это делается в ряде современных учебных пособий типа «Введение в языкознание». Так, предлагаются лингвонимы: *мадьярский язык* (= *венгерский язык*), *словинский язык* (= *словенский язык*), *индустани* (= *хиндустани*), *древнеболгарский язык* (= *старославянский язык*), *турецкие языки* (= *тюркские языки*) и др. Без соответствующих помет (устар., неупотребит. и т. д.) не ясно, какие из этих лингвонимов автор считает актуальными и пред-

лагает для использования⁵¹. Неразборчивый подход к лингвонимам, когда в употреблении допускается свободное варьирование дублетов и вариантов, часто не отражающих полноты лингвонимического значения, может вызвать последствия, выходящие за рамки лингвистики, как, например, в случае с *градищанско-хорватским литературным языком* (gradišćansko-hrvatski književni jezik) в Австрии, часто называемом в градищанской печати просто *хорватским языком* (hrvatski jezik). Это дает повод противникам развития этого славянского литературного микроязыка спекулировать на смещении его с собственно *сербско-хорватским* или *хорватско-сербским языком* (srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik) и тем самым ставить под вопрос необходимость изучения градищанско-хорватского языка в школе⁵².

Весьма важно было бы в языковедческих работах, а особенно в серийных изданиях типа «Языки народов СССР», «Языки Азии и Африки» и др., делать пометы, указывающие на неактуальность лингвонима, в то же время мотивируя выбор того или иного лингвонима в качестве актуального и сопровождая его написанием на языке-оригинале. В отношении этнонимов такая практика успешно проводится в этнографических работах.

Приложение

СЛОВАРЬ ЛИНГВОНИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, ВВЕДЕННЫХ АВТОРОМ

В словаре содержится толкование лингвонимических терминов, поскольку в тексте предлагаемого очерка далеко не все из них получили достаточно полное определение. Необходимость в таком словаре вытекает также из задач, поставленных автором в первом очерке, а также диктуется стремлением помочь читателю при чтении последующих разделов «Очерков». Термины даются преимущественно в той форме, в какой они встречаются в тексте.

ДЕТЕРМИНАТИВ — определение к таксону, дифференцирующий компонент в составе лингвонима, например, *восточно-словацкий* по отношению к таксону *диалект*, *болгарский* по отношению к *язык* и т. д.

ДЕТЕРМИНАТИВ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ — взятый из языка-оригинала и не приспособленный к нормам, например, русского языка, срав. *язык кварааэ*, *язык ишаа* (при невозможности *кварааэский язык*, *ишааский язык*).

ДЕТЕРМИНАТИВ МАРКИРОВАННЫЙ — отмеченный связью с этнонимом, топонимом или другим источником образования лингвонимического знака; характерен как для одно-, так

и для двукомпонентных лингвонимов таксономического уровня *язык* и выше; противоп. *детерминатив немаркированный*.

ДЕТЕРМИНАТИВ НЕМАРКИРОВАННЫЙ — недифференцированный, специально не отмеченный, образованный на основе географических терминов, указывающих местонахождение или направление: *восточный* (диалект), *верхний* (говор) и под.; характерен для двукомпонентных лингвонимов ниже уровня *язык*; противоп. *детерминатив маркированный*.

ДЕТЕРМИНАТИВНАЯ ФОРМА — то же, что *детерминатив*, рассматриваемый с точки зрения словообразовательных возможностей.

ДЕТЕРМИНАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ — детерминатив как один из компонентов лингвонимического знака, или лингвонима; срав. *таксономический компонент*.

ДЕТЕРМИНАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ — совокупность определений (детерминативов) к таксону в составе лингвонима, или лингвонимического знака.

ЛИНГВОВЕТВЬ — таксон высшего порядка, расположенный в иерархии между таксонами *лингвогруппа* и *лингвоподсемья*; входит в состав макролингвонима.

ЛИНГВОГРУППА — таксон высшего порядка, расположенный в иерархии между таксонами *лингвоподгруппа* и *лингвоветвь*; входит в состав макролингвонима.

ЛИНГВОНАДСЕМЬЯ — таксон высшего порядка, завершающий таксономическую иерархию; следует после таксона *лингвосемья*; входит в состав макролингвонима.

ЛИНГВОНИМ — основная единица, принятая в лингвонимике для обозначения языков и языковых разновидностей (если они имеют специальное обозначение); срав. в этнографии *этноним*.

ЛИНГВОНИМ АКТУАЛЬНЫЙ — общеупотребительный и общепринятый в данное время; противоп. *лингвониму неактуальному*, или *лингвониму-архаизму*.

ЛИНГВОНИМ ВИДОВОЙ — т. е. собственно лингвоним; термин употребляется при установлении оппозиции «видовой лингвоним — родовой лингвоним»; иными словами, это случай, когда лингвоним употребляется и в функции собственно лингвонима, и в функции макролингвонима, срав. лингвоним *лезгинский язык* и макролингвоним *лезгинская лингво(под)группа* в составе дагестанской лингвоветви; противоп. *лингвониму родовому*.

ЛИНГВОНИМ ДВУКОМПОНЕНТНЫЙ — лингвоним-словосочетание, состоящий из двух компонентов — детерминатива и таксона, срав.: *русский язык*.

ЛИНГВОНИМ НЕАКТУАЛЬНЫЙ — вышедший из общего употребления, замененный *лингвонимом актуальным*; то же, что *лингвоним-архаизм*.

ЛИНГВОНИМ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ — равный одному слову (= детерминативу), как, например, в языках банту (*кисухили*) или в чешском (*ruština* «русский язык»).

ЛИНГВОНИМ РОДОВОЙ — т. е. макролингвоним; термин употребляется при установлении оппозиции «видовой лингвоним — родовой лингвоним», когда собственно лингвоним (= видовой лингвоним) выступает и в функции макролингвонима; срав. *лингвоним видовой* и примеры при нем.

ЛИНГВОНИМ-АРХАИЗМ — то же, что *лингвоним неактуальный*.

ЛИНГВОНИМИКА — метаязыковой раздел лингвистики, занимающийся изучением вопросов, связанных с происхождением, формированием, структурой и проч. лингвонимов; срав. этнонимика.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ — наличие вариантного ряда лингвонимов для обозначения одного языка, диалекта и т. д.; срав. *лингвонимическая дублетность*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКАЯ ДУБЛЕТНОСТЬ — наличие дублетного ряда лингвонимов для обозначения одного языка, диалекта и т. д.; срав. *лингвонимическая вариантность*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА — то же, что *лингвоним*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ (ЯЗЫКА) — история изучения языка по данным лингвонимии.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКАЯ МОТИВИРОВКА (ЛИНГВОНИМА) — интерпретация происхождения лингвонима как созданного на базе другого лингвонима; срав. недавно появившийся лингвоним для обозначения специальной языковой разновидности *франглэ*, образованный контаминацией двух известных лингвонимов *français + anglais > franglais*. Срав. этнонимическую, топонимическую и иные мотивировки лингвонима.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — совокупность лингвонимов (т. е. лингвонимия), свойственных тому или иному языку, например, русская лингвонимическая система = русская лингвонимия.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА — строение (однокомпонентного) или состав (двукомпонентного) лингвонимического знака, или лингвонима; структура лингвонимов первого типа: префикс + детерминатив, детерминатив + постфикс; структура лингвонимов второго типа: детерминатив + таксон (порядок следования компонентов может быть иным).

ЛИНГВОНИМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ — состояние лингвонимической оформленности того или иного языка, диалекта, говора и под.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ — относящийся к лингвониму.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ — лингвоним, входя-

щий в лингвонимический вариантный ряд и отличающийся от других единиц этого ряда фонетическими (срав. *хиндустан* и устар. *индустан*) и словообразовательными (срав. *санскрит* — *санскритский язык*) особенностями; срав. *лингвонимический дублет*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ ДУБЛЕТ — лингвоним, входящий в лингвонимический дублетный ряд и отделяющийся от других единиц этого ряда различием детерминативных корней; дублеты — это разные детерминативы для обозначения одного и того же языка, срав. *венгерский язык* и устар. *мадьярский язык*; срав. *лингвонимический вариант*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ ЗНАК — словесный знак, равный, как правило, одному или двум словам, выражающим лингвонимическое значение; то же, что *лингвоним*, когда речь идет о материальном составе последнего.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ КЛАСС — в языках банту специально обозначаемый класс существительных (как частное проявление более общего класса вещей, или предметов), куда входят лингвонимы, например, в суахили лингвонимический класс оформляется префиксом *ki-*; семантически и формально противопоставлен этнонимическому классу.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ — 1) см.: *лингвонимический префикс*; 2) см.: *лингвонимический постфикс*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ ПОСТФИКС — обычно суффикс, с помощью которого формируется лингвонимический класс, как, например, *-и* в индоарийских и иранских языках: *хинди*, *бенгали*, *фарси*; срав. *лингвонимический префикс*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ ПРЕФИКС — специальный префикс языков банту, с помощью которого формируется лингвонимический класс, как, например, *ki-* в суахили, *isi-* в зулу и др.; срав. *лингвонимический постфикс*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ ФОНД — совокупность лингвонимов, т. е. весь состав лингвонимов, входящих в метаязык лингвистики; то же, что *лингвонимия*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ — лингвонимический знак, распространенный каким-либо определением, например, *современный чешский язык*, *литературный итальянский язык* и т. д.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ — содержание лингвонимического знака, выражаемого посредством морфемы (префикса или постфикса) или словосочетания; противоп. этнонимическое значение.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ — т. е. оформление лингвонимического знака с помощью специальных лингвонимических показателей (при однокомпонентном лингвониме) или специальных лингвонимических компонентов — детерминатива и таксона (при двукомпонентном лингвониме).

ЛИНГВОНИМИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ — метод или процедура, с помощью которой лингвоним ниже уровня «язык» с немаркированным детерминативом в своем составе может быть наполнен конкретным (определенным) содержанием посредством развертывания лингвонимической цепочки, например: *центральный диалект (говор) западномакедонского наречия македонского языка*.

ЛИНГВОНИМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ — то же, что *лингвонимическое значение*.

ЛИНГВОНИМИЧНЫЙ — обладающий свойством лингвонима, присущий лингвониму.

ЛИНГВОНИМИЯ — совокупность лингвонимов, существующих для обозначения языков мира и их разновидностей; лингвонимы, представленные, например, в русском языке, составляют русскую лингвонирию и т. д.

ЛИНГВОНИМОИДНЫЙ — семантически и структурно напоминающий лингвоним, однако не являющийся им, срав. *язык бирманцев*.

ЛИНГВОНИМОИДНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ — словосочетание, семантически и структурно напоминающее двукомпонентный лингвоним, однако не являющееся им, срав.: *язык чукчей* (таксон + этноним).

ЛИНГВОНИМЫ-ВАРИАНТЫ — то же, что *лингвонимический вариант*.

ЛИНГВОНИМЫ ДУБЛЕТНО-ВАРИАНТНЫЕ — лингвонимы, составляющие дублетный и вариантный фонд данного языка; срав. *лингвонимические варианты* и *лингвонимические дублеты*.

ЛИНГВОНИМЫ-ДУБЛЕТЫ — то же, что *лингвонимический дублет*.

ЛИНГВОПОДГРУППА — таксон высшего порядка, расположенный в иерархии сразу после таксона «язык»; входит в состав макролингвонима.

ЛИНГВОПОДСЕМЬЯ — таксон высшего порядка, расположенный в иерархии между таксонами *лингвоветвь* и *лингвосемья*; входит в состав макролингвонима.

ЛИНГВОСЕМЬЯ — таксон высшего порядка, расположенный в иерархии между таксонами *лингвоподсемья* и *лингводнадсемья*; входит в состав макролингвонима.

МАКРОЛИНГВОНИМ — лингвоним выше таксономического уровня «язык»; как особый случай макролингвонимом может выступать язык по отношению к своим диалектам и говорам; срав. *макроэтноним* (примеры — в тексте).

МАКРОЛИНГВОНИМ-АРХАИЗМ — не использующийся в данное время, вышедший из употребления; противоп. *макролингвоним*.

МАКРОЛИНГВОНИМИЧЕСКИЙ — относящийся к макролингвониму.

ТАКСОН — термин общего языкознания типа *язык, диалект/наречие, говор* и т. д., перешедший в состав лингвонимического знака, или лингвонима, и лишенный обобщающего значения, например, *язык* в составе русского лингвонима *финский язык*.

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА — то же, что *таксон*; один из членов таксономической иерархии.

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ — совокупность таксонов, располагающихся в последовательности и соотносимых как высший и низший по отношению друг к другу; например, таксономическая иерархия ниже уровня «язык» будет выглядеть так: *диалектная база/диалектная зона — диалект/наречие — поддиалект/поднаречие — говоры — говор — подговор*.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ — таксон как один из компонентов лингвонимического знака, или лингвонима; срав. *детерминативный компонент*.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ — совокупность таксонов, входящих в состав лингвонимического знака, или лингвонима; срав. *детерминативный уровень*.

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ — нелингвонимичное выражение на таксономическом уровне типа *группа языков* *вм. лингвогруппа, семья языков* или *языковая семья* *вм. лингвосемья* и под.

ТАКСОНЫ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА — таксоны лингвонимического знака, стоящие выше уровня «язык»: *лингвоподгруппа, лингвогруппа, лингвоветвь, лингвоподсемья, лингвосемья, лингвонадсемья*, срав. *таксоны низшего порядка*.

ТАКСОНЫ НИЗШЕГО ПОРЯДКА — таксоны лингвонимического знака, стоящие ниже уровня «язык»: *диалектная база/диалектная зона — диалект/наречие — поддиалект/поднаречие — говоры — говор — подговор*; срав. *таксоны высшего порядка*.

УРОВНЕВЫЙ КОМПОНЕНТ — то же, что *таксон*.

ПРИМЕЧАНИЯ И ЛИТЕРАТУРА

1. Срав., например, общий термин для неглагольных аффиксов *taddhita* и его составляющие *arāṭya, rakta, chāturarāthika, saīṣika, vikāra* — термины для конкретных аффиксов с конкретными значениями. См.: Дж. П. Д и м р и. Принципы морфологического анализа в «Восьмикнижии» Панини /Структурные элементы слова у Панини/. — ВЯ, 1976, 5, стр. 74—80.

2. Г. Н. Максимов, Э. Л. Файбусович. Об основном термине географической науки. — Известия Всесоюзного географического общества, М., 1976, т. 108, вып. 3, стр. 258—259.

3. Уместно заметить, что давно и успешно решен аналогичный вопрос в этнографии, где по отношению к знакам, выражающим понятия «народ», «национальность», «племя» и под., употребляется термин «этноним».

4. Термин *лингвоним* (и производные) обсуждался нами в неоднократных беседах с В. А. Никоновым, Н. И. Толстым, А. Е. Супруном, С. И. Зининым и другими лингвистами в конце 60-х — начале 70-х гг. Обоснование терминов, связанных с обозначением языков и их разновидностями, и некоторые теоретические вопросы лингвониими впервые были освещены нами в раб.: *La lingvonimiko (ĝia esenco kaj problemoj)*, in: *Scienca Revuo*, Beograd, 1973, vol. 24, N 2—3, p. 83—90.

Термин *лингвоним*, как представляется, пришелся кстати и начинает постепенно входить в научный обиход: см., например, его использование, правда, далеко не всегда последовательное, в коллективной монографии: Языковая ситуация в странах Африки. М., 1975, стр. 6, 179, 180 и 207.

5. А. Ф. Потт. Введение в общее языкознание. Перев. с немец. СПб., 1885, стр. 75.

6. Кстати заметить, что на славянской почве первым лингвонимическим этюдом было, по-видимому, рассуждение Константина (Философа) Костенчского /XIV—XV вв./ о том, почему первый литературно-письменный язык славян следует называть «словенским»: «того ради и книжнии сии ни блъгарскоу ни срьбскоу сию наричють, нь словѣнскоу, еже се въсѣхъ сихъ племень...» Цит. по: И. В. Ягич. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке. — В кн.: Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885—1895, стр. 398.

7. См., например, раздел «О термине «индоевропейские языки» в кн.: А. С. Чикобава. Введение в языкознание. Ч. I. Изд. 2. М., 1953, стр. 213.

8. Например: П. Ћорђић. Терминолошка питања из палеословенистике. — Годешњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. II. Нови Сад, 1957; Н. И. Толстой. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян. — ВЯ, 1961, I; М. М. Копыленко. Как следует называть язык древнейших памятников славянской письменности? — Советское славноведение, М., 1966, I; V. Vascenco. Din istoria metalimbii slavisticii românești. (II. Termini pentru paleoslava). — *Romanoslavica*, 18. București, 1972.

9. П. А. Дмитриев. К вопросу о названии литературного языка сербов, хорватов и черногорцев. — Вестник ЛГУ, № 14, серия истории, языка и литературы, вып. 3, 1958.

10. Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов, Б. Б. Талибов. Об унификации наименований некоторых языков Кавказа. — ВЯ, 1959, 3.

11. См. например: A. Dilâçar. Lehçemizin adı. — *Türk dili*, seri II, Ankara, 1940, N 3—4.

12. Г. А. Зограф. Хинди, урду и хиндустани (об употреблении терминов). — Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР, М., вып. 18, 1956.

13. A. Meillet, M. Cohen. *Les langues du monde*. Nouvelle éd. T. II. Paris, 1952, p. 880—903.

14. См.: Г. А. Зограф. Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала. (Серия «Языки зарубежного Востока и Африки»), М., 1960.

15. Э. Сепир. Язык. Перев. с англ. М.—Л., 1934, стр. 120.

16. См.: В. В. Выходцев. Сингальский язык. — В кн.: Языки Азии и Африки. I. Индоевропейские языки. I. М., 1976, стр. 271.

17. См.: М. А. Членов. Население Молуккских островов. М., 1976, стр. 195 и далее.

18. В. А. Богородицкий. Лекции по общему языковедению. Казань, 1911, стр. 209.

19. См. статью И. А. Водуэна де Куртенэ «Славянские языки» в изд.: Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз и Ефрон. Т. XXX. СПб., 1900, стр. 317.

20. См.: В. А. Богородицкий. Указ. соч., стр. 212—213.

21. Языки Азии и Африки. I. Индоевропейские языки. I. М., 1976, стр. 94.

22. А. С. Чикобава. Указ. соч., стр. 192, 199.

23. Еще раз подчеркиваем, что данная иерархия в известной степени условна и отражает то общее, что (с отдельными пропусками или, наоборот, введением новых единиц) вырисовывается при обозрении классификаций ряда языковых объединений. При классификации некоторых восточных языков некоторыми авторами используются иные таксономические единицы и иерархии. Так, в новейшей классификации языков Молуккских островов используется таксон *куст*, занимающий положение, в соответствии с нашей терминологией и системой, между *лингвогруппой* и *лингвоподсемейей*. (См.: М. А. Членов. Указ. соч., стр. 209). Известный африканист К. М. Док /Доук/, классифицируя языки банту, пользовался таксоном *зона* (=лингвогруппа). И. Снегирев подверг его критике за введение таких таксонов, как *диалект диалекта* и даже *диалект диалекта диалекта*. (См.: Язык и мышление. V. М.-Л., 1935, стр. 155). Некоторые исследователи при классификации, например, папуасских языков используют таксон *фила*; в описании африканских языков известна также номерная система и под.

24. Срав. широко использующиеся в интерлингвистике термины с элементом *лингво-*: *лингвопроект* «проект языка», *лингвопроектирование* и др. (См.: Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков. М., 1976); в семиотике — *лингвосемиотика* (см.: В. И. Кодухов. Общее языкознание. М., 1974). В целях уточнения и совершенствования метаязыка лингвистики имеет смысл распространить этот элемент и на составные термины, характеризующие строй языка, например: *лингвосистема*, *лингвоструктура* — вместо неудобных и нетерминологичных: *система языка* — *языковая система*, *структура языка* — *языковая структура*). Возражения о том, что заимствованный элемент *лингво-* должен присоединяться к заимствованному же элементу, можно снять: срав. активно использующиеся в последнее время образования типа *субполе* (чужое + свое) и др.

25. См.: С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России. I, СПб., 1904, стр. 979 и далее.

26. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2. Т. 21, стр. 93.

27. И. А. Бодуэн де Куртенэ. Язык и языки. — В изд.: Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз и Ефрон. Т. XLI. СПб., 1904, стр. 530.

28. Небезызвестный адмирал и президент Российской академии А. С. Шишков, хотя и преувеличенно, но в общем справедливо писал: «Языки назывались и ныне всегда называются именами говорящих ими народов». См. его сочинение «Опыт рассуждения о первоначалии, единстве и разности языков» в изд.: Известия Российской академии. Кн. 5. СПб., 1817, стр. 2—3.

29. См. например: А. Ф. Потт. Указ. соч., стр. 82—84.

Этот взгляд весьма живуч и в наше время. Многие современные авторы, пишущие о языках и их классификациях, подменяют лингвонимы этнонимами либо используют их как абсолютные синонимы, затемняя тем самым объект описания. См., например, работу Б. В. Андрианова «Население Африки» (М., 1960, стр. 12), где вслед за К. М. Доком /Доуком/ единичное описание лингвистической классификации банту взят не лингвоним, а этноним: *ваньям-вези* вм. *киньямвези*, *вагого* вм. *кигого*, *зулусы* вм. *зулу* или *исизулу* и т. д. Аналогичным образом в классификации тех же языков другой автор использует этноним *балуба* вм. лингвонима *килуба*, соответственно *баконго* вм. *киконго*, *баньяруанда* вм. *киньяруанда* и др. (См.: Л. И. Баранникова. Введение в языкознание. Саратов, 1973, стр. 296). Представляя славянскую лингвогруппу, авторы аналогичного пособия пишут не о *русском языке*, а о *русских («руслар»)*, не о *польском языке*, а о *поляках («полјакар»)*, хотя тут же встречаем лингвонимы типа *украинский язык («украјна дили»)* и под.; впрочем, такая мешанина и в других разделах книги: Н. Маммедов, А. Ахундов. Введение в языкознание. (На азербайдж. языке). Баку, 1966, стр. 227 и далее.

30. Н. И. Королев. Языковая ситуация в Непале. — Языки Индии, Пакистана, Непала и Цейлона. М., 1968, стр. 104.

31. Языковая ситуация в странах Африки, стр. 179.

32. М. С. Андреев. По этнологии Афганистана. Ташкент, 1927, стр. 10.
33. Ж. Вандриес. Язык. Лингвистическое введение в историю. Перев. с англ., М., 1937, стр. 237. Разгадка такой ситуации кроется в следующем: карайбы «при завоевании какого-либо острова [араваков] первым делом истребляли мужское население, а женщин забирали себе в жены. Этим объясняется существование у них особого женского и мужского языка», см.: Народы Земли. Географические очерки жизни человека на Земле. Т. II. СПб., 1903, стр. 390.

34. Ж. Вандриес. Указ. соч., стр. 237. Впервые такая лингвоситуация на Яве была описана В. Гумбольдтом в его раб.: *Über die Kawi-Sprache auf der Insel Jawa*. Berlin, 1836—1839.

35. См., например: П. И. Пучков. Языковая ситуация и национально-языковые проблемы в странах Океании. — *Расы и народы*. 6. М., 1976, стр. 247—266.

36. Примеры лингвонимов этого типа на уровне «язык» редки, срав. индоарийские: *ленои* «западный (язык)», *дакх(и)ни* «южный (язык)» и некот. др.
37. См.: В. А. Чернышев. Диалекты и литературный хинди. М., 1969, стр. 7.

38. Ю. А. Смирнов. Грамматика языка панджаби. М., 1976, стр. 11.

39. См.: Р. Ф. Брандт. Краткая сравнительная грамматика славянских языков. М., 1915, стр. 3.

Лингвоним Р. Ф. Брандта *староцерковный язык* был подвергнут критике со стороны В. Поржезинского, который считал, что использование его, равно как и лингвонима *древнецерковнославянский язык*, очень неудобно, поскольку может быть легко смешиваемо с лингвонимом *церковнославянский язык*. См. его книгу: Введение в языковедение. М., 1916, стр. 65.

40. A. Meillet, M. Koehn. Ibid., p. 797, 807, 837.

41. Т. Барроу. Санскрит. Перев. с англ. изд. 1955—1959 гг. М., 1976, стр. 46; см. также: Языки Азии и Африки. I. Индоевропейские языки. I, стр. 114 и далее.

42. Называть представленные лингвонимические варианты и дублиеты синонимами и синонимическими рядами, по-видимому, нет оснований, поскольку эти понятия противоречат самой природе термина как слова или словосочетания, характеризующегося точностью и однозначностью; см., однако, иное понимание: Языковая ситуация в странах Африки, стр. 179.

43. См.: Языковая ситуация в странах Африки, стр. 207.

44. Небезынтересно будет напомнить, что лингвоним *фула* совершил своеобразный круговорот: еще в начале прошлого века И. Х. Аделунг использовал его в качестве основного (один из разделов его книги озаглавлен «Fulah»), затем в европейской африканистике этот лингвоним был практически предан забвению, и лишь сейчас начинает занимать подобающее ему место, т. е. становится актуальным лингвонимом. См.: J. Ch. Adeling. Mithridates ... Bd. III, Abt. I. Berlin, 1812, S. 142—148.

45. См.: Расы и народы. 6. М., 1976, стр. 39.

46. Ю. Д. Дешериев и др. Указ. соч., стр. 63.

47. Представляется фантастичным утверждение известного лингвиста о том, что в норвежском языке от 700 до 1000 диалектов, см.: E. Haugen. The Norwegian language in America. A study in bilingual Behavior. Philadelphia, 1953, p. 338.

48. См.: С. К. Булич. Указ. соч., стр. 219, 278, 582 и др.

49. См.: Ю. Д. Дешериев и др. Указ. соч., стр. 61—65.

50. И. М. Дьяконов. Семитохамитские языки. Опыт классификации. М., 1965.

51. Тенденция к возрождению уже забытых лингвонимов заметна и в ряде зарубежных изданий: вм. *мансийский язык* — *вогульский язык*, вм. *хантыйский язык* — *остяцкий язык*, вм. *(иберийско-)кавказские языки* — *яфетические языки* и т. д.; см.: T. Milewski. Językoznawstwo. Warszawa, 1965, str. 158, 170. Эти же лингвонимы сохранены и в английском издании книги.

52. Подробно лингвонимическая ситуация у градищанских хорватов Австрии и ее влияние на развитие градищанско-хорватского литературного языка освещена в раб.: A. D. Duličenko. O položaju suvremenog gradišćanskog hrvatskog književnog jezika u Austriji. — Čakavska rič, Split, 1976, broj I, str. 36—37, 46—47, 62.

О СООТНОШЕНИИ ДЕРИВАТА, СЛОВСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

П. С. Сигалов

1. В 1904 г. польский ученый Я. Розвадовский опубликовал книгу «Wortbildung und Wortbedeutung» [23], в которой он разрабатывал и уточнял апперцепционную теорию, созданную В. Вундтом, применительно к разным сферам языка и, прежде всего, — к словообразованию. Книга Розвадовского имеет принципиальное и пионерское значение для теории номинации, теории словообразования и для науки о языке вообще, можно лишь сожалеть о том, что она была недостаточно известна лингвистам. Общую позицию автора можно определить как психологическую и историческую (генетическую). Исходя из правила номинации: дефиниция состоит из двух частей — части известной (родового понятия — *pars communia*) и части новой, неизвестной (видового понятия — *differentia specifica*), он разрабатывает теорию принципиальной двучленности таких языковых образований как суффиксальное слово, сложное слово, словосочетание и предложение — простое и сложное. Так, он заявляет, что нет различия между аффиксальным словом и словом сложным с точки зрения принципа их образования: различие между ними относительно, оно заключается лишь в том, что это различные ступени единого процесса. Точно то же отношение усматривается между словосочетанием и сложным словом. И общий вывод: «Мы видим 1) что грамматические термины: корневые имена, суффиксальные образования, сложения, группы слов (или синтаксические группы) обозначают только разные фазы развития одного и того же процесса, заключающегося во взаимодействии двучленной синтетической и единой аналитической апперцепционной функции...» [23, 50], т. е. процессы исторической трансформации словосочетания в сложное слово, сложного слова — в аффиксальное слово, а последнего — в простое («корневое») слово. Важной является характеристика каждого из двух членов образования, произведенная с психологических позиций: каждое новое представление путем его соотнесения с предыдущим представлением или с рядом

таких представлений членится, при этом один из членов является отождествляющим (*identifizierende*), а другой — различающим (*unterscheidende*) [23, 27—28]. Этот принцип, в его словообразовательной интерпретации, стал важнейшим средством анализа дериватов, ср., например, словосочетание **слепой человек** и дериват **слепец**, в них слово **человек** и суффикс **-ец** являются отождествляющими членами соответствующих образований (ср., с одной стороны, словосочетания **старый человек**, **глупый человек**, **хитрый человек** и дериваты **старец**, **глупец**, **хитрец**, с другой), а **слепой** и **слеп-** — членами различающими.

Теория двучленности языковых образований, созданная Я. Розвадовским, была положена польскими лингвистами в основу изучения словообразования. Так возникла польская дериватологическая школа, представленная такими именами, как Я. Лось, Г. Улашин, С. Шобер, В. Дорошевский [21, 25, 24, 12, 14] и их последователи, в настоящее время — ученики проф. Дорошевского. Отойдя от психологизма Я. Розвадовского, польская дериватологическая школа использует принцип двучленности как при изучении современного состояния, так и при исследовании исторического словообразования.

Очевидно, независимо от Я. Розвадовского пришел к мысли о двойном членении языкового образования, о подходе к нему как к синтагме Ф. де-Соссюр [7, 122]. Здесь принцип бинарности применен с четким разграничением синхронии и диахронии: Соссюр говорит о возможности свободных и несвободных синтагм. Двучленное деление языковых образований провозглашают и используют вслед за Соссюром Ш. Балли [1] и С. О. Карцевский [18, 14], выделяя в каждой бинарной оппозиции определяемое (**Determinatum**) и определяющее (**Determinans**). Такой подход к изучению словообразования широко практикуется в работах современных западноевропейских лингвистов, прежде всего, видного специалиста по словообразованию английского языка Г. Мэрченда [22, 2—3, 59]. В советском языкознании принцип двучленности в применении к словообразованию был высказан Г. О. Винокуром [2]. В последнее время бинарность как универсальный принцип построения языковых образований применяется Ф. Микушем в его синтагматической теории и американскими лингвистами (Р. Уэллз, Ю. Найда и др.) в анализе по непосредственно составляющим.

2. Принцип двучленности используется как при историческом (генетическом) подходе к явлениям словообразования, так и при синхронном их изучении. Оба этих аспекта в целом хорошо разработаны польской дериватологической школой. При генетическом подходе устанавливается, что словосочетание как средство номинации предшествует сложному слову, которое является следующей ступенью процесса, сложное слово превращается в аф-

фиксальное слово, последнее превращается в простое слово. Таким образом, словосочетание — сложное слово — аффиксальное слово являются этапами эволюции средств номинации. Сложное слово — это сращение или сложение, при этом сращение представляет собой, вероятно, более ранний акт, оно возникает в результате непосредственного соположения компонентов и может превратиться в сложение, ср. **пролитие крови** — **крови пролитие** — **кровипролитие** — **кровопролитие**, тогда как обратный процесс не зафиксирован. Конечно, сращение совсем не обязательно предшествует сложению, это независимые и параллельные процессы. Генетический аспект разработан Г. Паулем, Я. Розвадовским, Я. Лосем, Г. Улашином и др. Проиллюстрируем этот номинационный ряд примером из работы Г. Улашина: **wielki człowiek** (в первоначальном, физическом значении прилагательного) — **wielkolud** (идентичное с предыдущим в плане семантическом — великан, но отличное от него формально: это сложение) — **wielkusz**, ср. рус. **великан** (суффиксальное образование) [25, 4—5]. Добавим к этому ряду Г. Улашина конечное звено — укр. диал. **велет** (великан), существующее наряду с суффиксальным **велетень** [3, 1, 131], если конечно, считать, что это однокоренные слова, ср. рус. диал. **велет**, **волот** [9, 1, 288]. Превращение сложных слов в аффиксальные свидетельствуется историей приставок и ряда суффиксов (ср. англ. — **map**, нем. — **mann**, **-schaft**, **-tum**, **-lich**, **-bar**, франц. **-ment**, эст. **-mees**, рус. **-вед**, **-вод** и т. д.).

Другой, синхронный аспект использования принципа двучленности в словообразовании заключается в том, что в **pedant** деривату (т. е. аффиксальному слову и сложному слову) может быть поставлено словосочетание, изоморфное ему в плане формальном и семантическом. Такой подход не обозначает, что **каждый** дериват может и должен обязательно трансформироваться в словосочетание. Речь идет о принципиальной возможности такого соответствия, такое словосочетание есть не что иное, как эксплицитное выражение словообразовательного значения — семантической основы словообразовательного типа. Так, слово **читатель** изоморфно словосочетанию **тот, кто читает**, где в качестве отождествляющего члена выступает суффикс **-тель** и личная часть сочетания **тот, кто**, а членом дифференцирующим, различающим является глагол в форме основы или лексемы. Анализируемое словосочетание является частным случаем модели — словосочетания, формулы всего данного словообразовательного типа: «тот, кто делает то, что обозначено производящей основой». Слова, образованные по данному словообразовательному типу, толкуются на основании этой формулы. Такой подход широко распространен в словообразовательной практике. Он был впервые использован и детально разработан польской словообразовательной школой (прежде всего — в работах В. Дорошевского),

где сформулированы такие сублимированные выражения различных словообразовательных типов [12]. Хотя не всегда удается использовать такой подход из-за нередкого семантического разнообразия словообразовательного типа, нет сомнения, что сам подход правилен и что словообразование основывается именно на таких формулах-схемах.

3. Важно иметь в виду, что дериват как лексическая единица изоморфен в качестве средства номинации именно словосочетанию как синтаксической единице, но ни в коем случае не предложению. И дериват и словосочетание являются номинативными единицами, средствами номинации, они служат для обозначения «единого и расчлененного понятия» (в этом смысле характерна позиция Л. В. Щербы, считавшего словом все, что «служит для обозначения отдельных понятий» — 10, 99), тогда как предложение является коммуникативной единицей, оно не служит средством называния. Дериват и словосочетание объединяются отсутствием предикативности, тогда как в предложении она наличествует обязательно. Дериват не может быть изоморфен предложению — это принципиально разные языковые единицы. О связи и изоморфности (и изофункциональности) деривата и словосочетания говорят следующие факты. Во-первых, одно и то же понятие в данном языке может обозначаться с помощью разных средств номинации, причем дериват нередко трансформируется в словосочетание и наоборот, ср. **покупатель — тот, кто покупает; почитать — читать немного, некоторое время; набегаться — побегать вволю; загородный — находящийся за городом**, т. д. (Здесь не идет речь о семантическом и функциональном тождестве этих образований, а об их изоморфизме и изофункциональности, что предполагает сохранение качественного своеобразия этих языковых единиц). К описанию, перифразе прибегает человек, не знающий обозначения данного понятия, предмета. Последнее обычно в детской речи и в речи человека, недостаточно владеющего языком. Во-вторых, как указывалось выше, словосочетание исторически предшествует деривату. Такое соотношение нередко прослеживается и в языке одной и той же или близких эпох. Здесь мы имеем в виду, с одной стороны, явление субстантивации, т. е. эллиптическое превращение словосочетания в слово типа **столовая комната — столовая**, с другой стороны, явление, получившее название «универбация», или «суффиксальная субстантивация», — широко распространенное в русском языке превращение атрибутивного словосочетания в суффиксальное слово. При этом отождествляющий член словосочетания опускается, а его функцию перенимает суффикс, присоединяемый к различающему члену словосочетания, ср. **зенитное орудие — зенитка, овсяная каша — овсянка, читальный зал — читалка, вечерняя газета — вечерка**. В-третьих, одно и то же понятие в разных языках может обозначаться как простым словом, так и словом аффиксальным,

сложным словом либо словосочетанием. В различных языках при общем тождестве средств номинации наблюдается предпочтительное использование какого-либо из средств: аффиксального слова, сложного слова или словосочетания. Так, русскому словосочетанию как номинационному средству в немецком и эстонском языках, как правило, соответствует сложное слово. Вполне понятно поэтому, что при переводе одному средству номинации может соответствовать другое средство, причем, как указывалось выше, это наблюдается даже в близкородственных языках. Так, если по-русски можно сказать и «человек, несущий ведро» и «человек, который несет ведро», то на украинский обе конструкции можно перевести только сочетанием «людина, що несе відро». Славянские глагольные способы действия, т. е. обстоятельственные модификации исходного глагола, передаются обычно на другие языки словосочетанием «простой глагол плюс обстоятельство», ср. почитать — франц. lire un peu, нем. ein wenig lesen, эст. natuke lugema, просидеть — франц. rester assis (tout le jour), нем. ein bestimmte Zeit hindurch sitzen, эст. teatav aeg istuma; набегаться — франц. courir tant, qu'on a voulu, нем. sich müde laufen, эст. isu täis jooksmas.

Таким образом, дериват и словосочетание не только изоморфны, но и изофункциональны: они выступают в качестве средств номинации и этим они отличаются от предложения, которое, будучи изоморфным деривату и словосочетанию, т. е. будучи двучленным по своей структуре, вместе с тем не изофункционально им: оно является средством коммуникации, а не номинации. Это, казалось бы, очевидное положение не всегда учитывается.

4. Польская дериватологическая школа при анализе словообразовательных явлений фактически исходит из соотношения деривата и словосочетания, которое представляет собой формул-схему данного словообразовательного типа. Но в теоретическом обосновании позиция польской школы определяется не соответствием дериват — словосочетание, а соответствием дериват — предложение, при этом для объяснения фактов словообразования используется терминология предложения, что создает неверное представление о соотношении деривата и предложения. Я. Розвадовский, как говорилось выше, отметил сходство структуры деривата, словосочетания и предложения, но из этого совсем не следует вывод об изофункциональности этих трех языковых единиц. Между тем такой вывод делается. Так, В. Дорошевский пишет: «Слова не только, как утверждал Розвадовский, двучленны, поскольку они отражают двучленную апперцепцию мира в сознании, но в своей бинарной структуре они заключают компоненты, соответствующие главным понятийным компонентам простого предложения, а именно понятиям подлежащего, простого сказуемого, дополнения, связки, именной части состав-

ного сказуемого» [13, 221]. Так, он говорит, что в сказуемом образовании (*śpiewanie* — исполнение пения, *śmiałość* — бытие смелым) формант несет сказуемостную функцию, в подлежащем образовании (*śpiewak* — который поет, *śmialek* — который является смелым, который смел) — подлежащую функцию [13, 221—222]. Как видим, здесь дериват фактически сопоставляется со словосочетанием, но словообразовательные факты толкуются в терминах предложения, что создает впечатление изофункциональности деривата и предложения. На самом деле *śpiewak* (певец) имеет не подлежащую функцию, а функцию агентивную, *śpiewanie* (пение) имеет не сказуемостную функцию, а функцию процессуальную, обозначает процесс, действие. Т. е. здесь происходит подмена номинационного и словообразовательного анализов анализом синтаксическим. Последователи В. Дорошевского продолжают эту тенденцию и находят в дериватах обстоятельственную и определительную функции (например, если дериват обозначает орудие или признак) [19]. Этот подход к деривату с точки зрения предложения отчетливо звучит в изложении Х. Копечной: «В девербативных сказуемостных образованиях формант так относится к основе, как предикат к объекту, а в деадъективных сказуемостных образованиях — как связка к атрибуту, тогда как в девербативных подлежащих образованиях формант относится к основе так, как субъект к предикату, а в образованиях деадъективных подлежащих — как субъект к связке + атрибут» [19, 62]. В целом можно сказать, что польская словообразовательная школа, на практике исходя из изофункциональности деривата и словосочетания, в плане теоретическом неправильно переносит синтаксические отношения простого предложения на характеристику компонентов деривата.

Такая двойственность теоретических позиций польской дериватологической школы вызвала критические замечания в ее адрес. Здесь, прежде всего, должны быть названы работы чехословацких лингвистов Я. Горецкого и М. Докулила [16, 21—22; 11]; ср. также кандидатскую работу Р. В. Ефимова [4, 65—66]. Соглашаясь с тем, что существует глубокое внутреннее родство между структурой мотивированного слова и синтаксической конструкцией, М. Докулил говорит о возможности толковать мотивированное слово как определенную конденсацию соответствующего синтаксического образования, а синтаксическое образование, эквивалентное производному слову, как его расширение. Но затем он заявляет: «То, что в синтаксическом образовании является специфическим, не отражается в структуре сложного или производного слова, которое по содержанию эквивалентно этому синтаксическому образованию. Собственно синтаксические отношения (синтаксическая зависимость/независимость, формы и средства выражения синтаксической зависимости) остаются — за исключением такого

образования, которое стоит на грани между синтаксической конструкцией и однословным обозначением (т. е. сращения) — вне словообразования» [11, 217]. В подтверждение своего тезиса М. Докулил приводит два чешских сложения: **krajinomalba** 'пейзажная живопись' и **olejomalba** 'живопись масляными красками'. В первом случае композита соответствует объектному словосочетанию — **malba krajin**, во втором — орудийному словосочетанию **malba olejem**, но это различие словосочетаний никак не выражается в соотношении компонентов композиты. Это верное замечание, как представляется, не может противоречить мысли об изоморфизме и изофункциональности деривата (мотивированное слово) и синтаксической конструкции (имеем в виду словосочетание), если исходить из того, что дериват является **конденсированной** трансформацией синтаксической конструкции; на эту особенность обратил внимание еще И. И. Срезневский: «Вообще о словах, происшедших из глагольных выражений, можно заметить, что от одного и того же глагола могут одинаково образоваться слова, в которых отношения глагола к именам будут различные . . .» [8, XXI]. Если оставить в стороне чешские композиты, которые являются кальками соответствующих немецких сложений (**Landschaftsmalerei** и **Ölmalerei**), можно отметить, что, по-видимому, правильное сопоставлять мотивированное слово с фактами не формального, а актуального синтаксиса, так как дериваты являются трансформациями актуальных синтагм, что отметил Ш. Балли: «Элементы сложных слов (словосочетаний, префиксальных, суффиксальных . . .) тоже восходят к актуализированным элементам предложения» [1, 113]. Критикуя польскую словообразовательную школу, М. Докулил говорит о несоответствии частей деривата и частей предложения типа чеш. **učitel** и **on(človek)** и т. д.) **uči**, так как **-tel** нельзя идентифицировать с подлежащим **on, človek**, а **uči-** — со сказуемым **uči**. Такие замечания верны, они лишний раз доказывают неудачность аналогии между компонентами деривата и предложения. Но на основании выводов такого рода нельзя отрицать правомерность использования синтаксических конструкций в интерпретации словообразовательных явлений: ведь функцией называния обладает не только слово (хотя только оно является объектом словообразования), но и словосочетание. А у М. Докулила функция синтаксической конструкции ограничивается высказыванием [11, 223]. Он явно недооценил словосочетание как средство номинации в его соотношении со словом как другим средством номинации, хотя в своей работе он неоднократно обращается к словосочетанию как эквиваленту мотивированного слова. Наконец, необходимо отметить, что в работах польских ученых отмечается противопоставление деривата и словосочетания как средств номинации (детерминации) предложению, которое таковым не является, ср., например, рецензию Р. Гжегорчиковой на книгу Я. Горецкого «Slovo-

tvorná sústava slovenčiny», правда, тут же зачем-то говорится, что производное слово тоже содержит предикативность, как и предложение, но предикативность иного рода [15].

Мысли о соотносительности деривата и предложения высказывались и ранее, они появляются и в настоящее время — помимо польской школы. При их анализе необходимо, с одной стороны, учитывать генетический и типологический аспекты сопоставления, а с другой стороны, сопоставление деривата с независимым и зависимым предложением. Так, Г. Пауль говорил о возникновении сложений из зависимых предложений, примеры, приводимые им, свидетельствуют, что имеются в виду сращения; случаи превращения в сложное слово самостоятельных предложений, по словам Пауля, редки [6, 387—388]. Г. Якоби считал, что сложное слово есть по происхождению причастие, образовавшееся в результате конденсации придаточного предложения [17]. Это генетическое объяснение созвучно с представлением синхронной формулы словообразовательного типа (прежде всего, агентивного), в состав которой входит придаточное предложение, ср. **читатель — тот, кто читает**. Современный исследователь Р. Лиз выделил в английском языке восемь типов предложений, в результате трансформаций которых порождаются все именные сложения. Например, ядерное предложение «субъект — предикат» (**girlfriend из the friend is a girl**), «субъект — косвенный объект» (**doctor's office из the doctor has an office**) и т. д. (20). Такой подход представляется принципиально неверным, сложения следовало бы сопоставлять (эвентуально — выводить путем трансформации) со словосочетанием, а не с предложением. Так, композита **girlfriend** формально и семантически соответствует словосочетанию **the friend who is a girl**, сложение **doctor's office** выражению **the office of the doctor**, и т. д. Некоторую дань такому подходу отдает и Г. Мэрченд, который обычно исходит из эквивалентности слова и словосочетания. Так, он пишет: «Морфологические композиты (сложения, суффиксальные и префиксальные образования) являются «сокращенными» предложениями в субстантивной, адъективной или глагольной форме и, как таковые, могут быть объяснены из полных предложений: **washing machine** из «**we wash with the machine**», **color blind** (прилагательное) из «**he is blind with regard to color**», **rewrite** (глагол) из «**We write again**», **stone** (глагол) из «**We kill with stones**». Ясно, что дериваты не эквивалентны приведенным предложениям и не выводятся из них, более верным представляется соотношение деривата и словосочетания: **washing machine** и **the machine that washes**, и т. д.

Как следует из сказанного выше, единственно правильным подходом к рассматриваемой проблеме является признание изоморфизма и изофункциональности двух эквивалентных языковых единиц, единиц, служащих средством номинации, — производ-

ного слова и словосочетания. Дериват и предложение изоморфны, бинарны (отношение односоставного предложения к двусоставному в генетическом и типологическом аспектах можно уподобить отношению простого слова к деривату), но этим ограничивается их сходство, в главном они различны: слово и словосочетание являются средством обозначения понятия, предложение есть средство выражения высказывания, слово и словосочетание — номинативные единицы, предложение — коммуникативная единица, в предложении обязательно наличествует предикативность, в слове и словосочетании она отсутствует. Признание соотносительности, эквивалентности деривата (мотивированного слова) и словосочетания отнюдь не обозначает их идентичности: это такие же различные и специфичные языковые единицы, как простое слово и слово аффиксальное, аффиксальное слово и словосочетание, и т. д. Интересны в рассматриваемом плане работы В. М. Никитевича [5], в которых к традиционному объекту словообразования (слову) добавляется и словосочетание (аналитическое производное) и исследуется взаимоотношение производных слов и словосочетаний, обслуживающих определенную область (выступающих в качестве субстантива).

ЛИТЕРАТУРА

1. Балли Шарль. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
2. Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию. — В кн.: Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
3. Гринченко Б. Д. Словарь української мови. I—IV. Київ, 1958—1959.
4. Ефимов Р. В. Словообразовательные потенции глагола (анализ префиксальных глаголов в современном немецком языке). Кандидатская диссертация (машинопись). М., 1971.
5. Никитевич В. М. Субстантив в составе номинативных рядов (К проблеме деривационной грамматики), АДД, М., 1973.
6. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.
7. де Соссюр Фердинанд. Курс общей лингвистики. М., 1933.
8. Срезневский И. И. Об образовании слов из выражений. — «Сборник ОРЯС», т. X, СПб, 1873.
9. Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. I—IV. М., 1964—1973.
10. Щерба Л. В. Что такое словообразование? — ВЯ, 1962, № 2.
11. Dokulil, Miloš. Zum wechselseitigen Verhältnis zwischen Wortbildung und Syntax. — «Travaux linguistique de Prague», I, Prague, 1966.
12. Doroszewski, Witold. Podstawy gramatyki polskiej. Cz. 1. Warszawa, 1952.
13. Doroszewski, Witold. Kategorie słowotwórcze. — In: W. Doroszewski, Studia i szkice językoznawcze. Warszawa, 1962.
14. Doroszewski, Witold. Syntaktyczne podstawy słowotwórstwa. — In: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 2, Językoznawstwo, Warszawa, 1963.
15. Grzegorzczkova, Renata. Рецензия на книгу «Ján Horecký, Slovo tvorná sústava slovenčiny». — «Poradník jazykový», 1960, nr. 7.
16. Horecký, Ján. Slovo tvorná sústava slovenčiny. Bratislava, 1959.

17. Jacobi, Hermann. *Compositum und Nebensatz*. Bonn, 1897.
18. Karcevski, Serge. *Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique*. Prague, 1927.
19. Koneczna, Halina. *Składnia a słowotwórstwo*. — In: *Otázky slovanské syntaxe. Sborník brněnské syntaktické konference 17—21. IV. 1961*. Praha, 1962.
20. Lees, R. B. *The grammar of English nominalizations*. 2-nd printing. The Hague, 1963.
21. Łoś, Jan. *Przyczyny dwuczłonowości typów morfologicznych*. — «Poradnik językowy», 1910, rocz. X.
22. Marchand, Hans. *The categories and types of presentday English word-formation*. Wiesbaden, 1960.
23. Rozadowski, Jan. *Wortbildung und Wortbedeutung*. Heidelberg, 1904.
24. Szober, Stanisław. *Gramatyka języka polskiego*. Wyd. 3. Warszawa, 1953.
25. Ułaszyn, Henryk. *Słowotwórstwo*. — In: *Język polski i jego historia*. Cz. II. Kraków, 1915.

УСТНАЯ РЕЧЬ КАК СЕМИОТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Б. М. Гаспаров

1.1. Как известно, устная речь является примарной по отношению к письменной — как в истории каждого языка, так и в языковом развитии каждого отдельного говорящего. Однако известно также, что генетическая примарность не всегда совпадает с примарностью функциональной. Именно такое несовпадение мы можем наблюдать в данном случае: несмотря на очевидную первичность устной речи, сложилась очень стойкая традиция, в силу которой устная речь воспринимается **на фоне** письменной речи и в параметрах этой последней¹.

Даже в фонетике, области, которая, казалась бы, заведомо должна была эмансипироваться в рамках собственно устной речи, воздействие графического образа было и остается определяющим. Еще в начале прошлого века оно имело непосредственно-наивную форму отождествления звуков с буквами. Однако и последующее интенсивное развитие фонетики и фонологии не изменило данного положения в принципе, поскольку это развитие протекало почти исключительно в рамках сегментных единиц, т. е. таких, которые коррелируют с графическими единицами, либо, во всяком случае, могут быть приведены в такую корреляцию с помощью транскрипции; в то же время остается

¹ Правда, имеется теория, согласно которой древнейшие формы письма восходят к **дозвуковой** стадии коммуникации. Эта теория в особенности последовательно развивалась Марром и его учениками [37; 39], в связи с более общим положением о сравнительно позднем развитии звукового языка, пришедшего на смену языку жестов. Однако в настоящее время данная теория, по-видимому, не имеет сторонников, прежде всего потому, что известно большое число бесписьменных культур, с полным, однако, развитием звукового языка. Кроме того, при более строгом и ограничительном понимании письма как деятельности, опирающейся на формы языка (а не на понятия), которой придерживаются большинство историков письма [12; 15; 64], данная проблема вовсе снимается, ибо такое письмо (не пиктография) может возникнуть, разумеется, только на базе звукового языка. Именно письменность в последнем смысле, т. е. письменность как **речь**, противопоставленная устной речи на том же языке, будет иметь значение для нашего культурологического анализа.

сравнительно очень мало известно о **мелодике** устной речи, т. е. тех компонентах ее звучания, которые не могут быть непосредственно репродуцированы в выработанной письменной традицией форме записи. Таким образом, **звучание** устной речи фактически предстает как **звуковая корреляция письма**.¹

В еще большей степени данное положение относится к другим компонентам устной речи — синтаксису, семантике, — специфика которых не так очевидна, как специфика материальной формы. Лингвистика знает, в сущности, только один синтаксис, и это — синтаксис письменной речи: синтаксис линейных цепочек «слов», организуемых по определенным правилам в «предложениях». Лишь в самое последнее время активизировался интерес к изучению специфического синтаксиса разговорной речи, исследуемого на основе подлинных записей². Данное направление представляется очень важным (к вопросу о его более общем культурологическом значении мы еще вернемся в конце настоящей работы). Его большим достижением является постепенная **эмансипация** описания разговорной речи, стремление представить последнюю в качестве самостоятельной системы, со своими собственными позитивными признаками, а не только в виде модификации стандартного (кодифицированного) языка. Однако и для такого рода исследований остается пока нерешенной такая, например, проблема: как описать взаимодействие мелодики устной речи (почти еще не изученной) и ее синтаксического построения? В силу этого фактическим предметом описания оказывается, собственно, **запись** разговорной речи; инвентарь синтаксических явлений существенно расширяется, но остается при этом в рамках тех параметров, которые могут быть уловлены записью (так сказать, **синтаксической транскрипцией**), сформированной письменной традицией. Параллелизм с тем, что говорилось выше о развитии фонетики, достаточно ясен.

Наконец, вопрос о специфической **семантике** устной коммуникации в настоящее время даже в принципе еще не поставлен. Правда, в монографии [46] имеется хорошо разработанный раздел о номинации в разговорной речи. Этот раздел, однако, можно скорее отождествить с **лексикологией** разговорной речи, чем с семантикой, понимая под последней способы построения смысла речи и характер (параметры, дифференциальные признаки) смысла. В этой последней области мы не имеем пока ничего, что можно было бы сопоставить с современными работами, описывающими смысл кодифицированной письменной речи³. Между

² Данное направление особенно интенсивно развивается в последние, примерно, 15 лет в Чехословакии и СССР. Отметим две работы последнего времени, имеющие наиболее обобщающий на данном этапе характер [46; 50].

³ Наиболее развитым описанием такого рода в настоящее время следует признать модель «смысл — текст». Ср. также ряд зарубежных работ по семантике [63; 65; 66; 73].

тем без такого исследования едва ли можно говорить о разговорной (или устной, или спонтанной) речи⁴ как об особой системе, особой разновидности языка. Без постановки данной проблемы невозможно также полное понимание функций и места данной разновидности в общей системе языковой деятельности. В результате исследования, ограничивающиеся описанием плана выражения устной (разговорной) коммуникации, неизбежно приходят к описанию ее как секундарного, «маркированного» явления, независимо от интенции исследователей.⁵

До сих пор мы говорили о репродукции устной речи в научном сознании. Однако и обиходное языковое сознание рядового грамотного носителя языка (т. е., в рамках европейской культуры в настоящее время, — рядового носителя этой культуры) имеет те же определяющие черты. Это не удивительно, так как школьное обучение в очень большой степени формирует языковую рефлексию говорящего, задает параметры, в которых он привыкает мыслить себе язык; а школьное изучение языка — это, во-первых, обучение письму, а во-вторых, более или менее отдаленная репродукция науки о языке. Человек, хотя бы только выучившийся читать и писать, уже знает, что существуют «слова», что слова имеют «значение», что слова и их значения складываются в «предложения» и значения предложений — в «мысли», что сами слова состоят из букв (звуков), и т. д., — и только в этих параметрах он может теперь осмыслять **любой** речевой феномен, в соответствии с единственной имеющейся в его распоряжении кодификацией.

Можно сказать, что носитель письменной культуры нового времени — от только что выучившегося читать школьника до профессионального филолога — существует в обстановке своего рода **легенды, мифа** об устной речи, сформировавшегося в условиях и традициях письменной культуры. Оказывается чрезвычайно трудным прорваться сквозь стилизованную культурную репродукцию данного феномена и реконструировать его «домифологические» черты. Парадоксальный факт — приходится говорить о реконструкции явления, повседневно наблюдаемого и сопровождающего нас на каждом шагу.

Однако было бы недостаточно оценить сложившееся положение только с точки зрения тех затруднений, которые оно вызывает на пути осознания и описания устной речи. Существенным представляется взглянуть на данное явление как на **позитивный факт**, имеющий определенный исторический и культурный смысл. Иначе говоря — не столько сетовать по поводу ориентации

⁴ Обсуждение соотношения данных понятий, в связи с вопросом о предмете настоящего исследования, будет дано в § 1.2.

⁵ Такое отражение в современном сознании стиливой системы языка было определено в кн. [7а, стр. 33].

лингвистической и школьной традиции на «филологическую» письменную сферу, сколько объяснить, в силу каких причин данная традиция сложилась.

При этом может быть предложено, в качестве одной из возможностей, конкретно-историческое объяснение, как, например, указание на роль **мертвого** (существующего только в письменных текстах) языка (латинского, или древнегреческого, или церковнославянского) как языка культуры и образования, и соответственно роль латинских грамматик как образца при создании грамматик новых языков⁶. Но такое объяснение в свою очередь оставляет открытым вопрос о том, почему на определенном этапе развития культуры в самых различных ареалах возникает потребность в ориентации на мертвый, зафиксированный в письменности язык (во всяком случае остается неясным, каковы собственно лингвистические аспекты данной потребности). Последнее обстоятельство указывает на необходимость более широкого культурологического объяснения. Думается, что если в определенную, и притом весьма обширную, культурную эпоху происходит сильнейшая редукция культурного отображения устной речи и приведение его в зависимость от ценностей письменной речи, — значит, данное явление имеет некоторые общие причины, связанные с особенностями соответствующего культурного механизма — особенностями устойчивыми, сохраняемыми на протяжении длительного развития.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы дать культурологическую проекцию различий между устной и письменной речью, объясняющую специфику их семиотического освоения. Для этого, однако, необходимо прежде всего сосредоточиться на особенностях семантики, особенностях построения смысла, возникающих в рамках данных двух способов коммуникации, имея в виду все особенности плана выражения как вторичное отражение этого глубинного различия. Поэтому наше исследование предполагает наличие двух основных частей: а) выяснение особенностей письменной и устной речи с точки зрения их семиотического механизма и б) интерпретация данных особенностей в качестве **культурных функций**, играющих определенную роль в развитии семиотического механизма культуры.

Решение такой задачи, с одной стороны, могло бы способствовать лучшему пониманию особенностей устной речи и возможных путей ее дальнейшего описания; с другой стороны, — прогресс в данной области мог бы иметь более общие последствия и для семиотического описания, с точки зрения выяснения взаимодействия между различными составными частями семиотического механизма.

⁶ Именно с этой точки зрения глубокая критика как лингвистической традиции, так и современного состояния науки была дана в свое время в кн. [6].

1.2. Для решения поставленной задачи необходимо прежде всего определить более точно **предмет исследования**, выделив его из той сложной сетки взаимно пересекающихся и накладывающихся параметров, которые образуют материальная форма, функция, ситуация, тематика сообщения, характер взаимоотношений между адресатом и адресантом, психолингвистическая характеристика участников коммуникации и т. д. Мы должны выяснить, какой (или какие) из этих параметров вычлениют предмет оптимальным образом для определения его семантической, и далее культурологической специфики.

Наиболее ранним по времени является функционально-стилистическое расчленение языковой деятельности в лингвистическом представлении. На первом этапе исследования проблемы это расчленение выступало как единственное, так что, например, материальная форма сообщения полностью игнорировалась: «книжная» речь без всякой дифференциации рассматривалась и в письменных, и в устных своих проявлениях⁷.

Мысль о том, что оппозиция «устная — письменная речь» (т. е. основанная на форме сообщения) образует самостоятельный параметр, лишь частично пересекающийся со стилистической оппозицией «книжности — разговорности», была высказана В. В. Виноградовым [5, стр. 78] и затем специально рассмотрена В. Г. Костомаровым [25, стр. 173]. В настоящее время данную мысль можно считать общепризнанной⁸; вопрос заключается, однако, в **иерархии** данных признаков, в том, какой из них является более фундаментальным и способным конституировать описание наиболее существенных разновидностей речевой деятельности. В решении этого вопроса наблюдается несколько различных подходов.

Во-первых, существует направление, исходящее прежде всего из ситуативных и функциональных параметров, таких, в частности, для разговорной речи, как неподготовленность речевого акта, неофициальный («непринужденный») характер общения; в то же время материальная форма речи рассматривается в качестве вторичного признака. Такое понимание в наиболее последовательной форме представлено в работах Е. А. Земской⁹.

⁷ Так, по Ш. Балли, даже импровизированное публичное выступление, даже разговор, выходящий «за пределы обыденного», находится в сфере письменной речи [1, стр. 259].

⁸ Наиболее интересным способом представления данных двух параметров, показывающим их автономность и в то же время взаимосвязь, нам представляется идея «сильных» и «слабых» стилистических признаков (т. е. маркированных собственно стилистической установкой либо избранной формой речи) у В. Д. Левина [32, стр. 20 сл.].

⁹ Не останавливаясь на предшествующих специальных работах, укажем «Введение» в кн. [46], в особ. стр. 11, 13—14. Аналогичный подход см. также в [51].

Второй подход состоит в признании равноправия нескольких параметров и как следствие этого принципиально разноаспектном определении предмета. Развернутую реализацию такого подхода в настоящее время находим у О. Б. Сиротининой, учитывающей в определении разговорной речи и ее форму (устная спонтанная), и характер ее протекания (диалог), и ситуативные условия (персональное общение, в отличие от массовой коммуникации)¹⁰; объединяющим фактором, позволяющим свести данные параметры к одному объекту, является непринужденность как условие протекания разговорной речи.

Наконец, третий подход трактует устную форму (вернее, спонтанную устную форму) речи как определяющий фактор, хотя и не единственный, но дающий основное расчленение, при котором все остальные признаки выполняют роль добавочных определителей. Данный подход находим в работах О. А. Лаптевой¹¹. Такому подходу соответствует и введенный ею термин «устно-разговорная разновидность литературного языка».

Все эти подходы имеют смысл с точки зрения определенных исследовательских задач, на оптимальное решение которых они направлены. Так, функциональное определение разговорной речи хорошо работает при описании особенностей ее плана выражения — фонетики, морфологии, синтаксиса, лексического состава, — рассматриваемого в пределах одной фразы; именно эта сторона и составляет предмет описания в монографии «Русская разговорная речь». Учет спонтанной устной формы речи позволяет поставить более широкие задачи: показать специфику строения разговора как **целого текста**, т. е. выйти за пределы структуры одного высказывания¹²; лучше понять специфику репродукции устной речи на письме, в частности в художественной литературе¹³; наконец, показать все то, что объединяет реализации устной речи в различных стилистических сферах¹⁴.

Таким образом, установка на форму речи позволяет показать более общие закономерности ее строения в целом, в то время

¹⁰ См. [50, стр. 26—33], а также специальную работу [49]. Ср. также [17, стр. 20 сл.]. Близкий подход, развернутый в еще большее число параметров, находим в работе [14].

¹¹ См. в особенности [29; 30]. Ср. общее определение: «В сфере устной речи ее особенности простираются на любые ее жанры и разновидности, которые различаются между собой по другому признаку — по степени концентрации тех или иных ее специфических свойств» [29, ч. I, стр. 91]. Ср. также общую схему [30, стр. 96], иллюстрирующую стратификацию языковой деятельности, в которой устной и письменной речи отведена роль основных срезов, и на них проецированы все остальные различия.

¹² Ср. анализ данного явления в кн. О. Б. Сиротининой: [49, стр. 121—126].

¹³ Ср. ставший уже образцовым анализ проблемы с этой точки зрения в кн. [22].

¹⁴ Ср. рассмотрение данных вопросов в работах О. А. Лаптевой [27, 28].

как стилистическая установка лучше фокусирует характерные черты, так сказать, микроструктуры объекта. В этом отношении первый из названных здесь подходов оказывается более близким задачам настоящего исследования. Чем больше мы удаляемся от конкретных ситуативных условий коммуникации и ограничиваемся лишь характером используемого кода, тем более распыленным оказывается материал с точки зрения конкретного выбора языковых единиц и их соединения, но при этом выявляется некоторое максимально общее качество, которое и является для нас наиболее важным — принципиальное осознание коммуникации, характер мыслительной активности, связанной с речевым актом, который определяется прежде всего **материальной формой** воплощения речи. Именно оппозиция устной — письменной речи выявляет такие особенности, как наличие vs. отсутствие дополнительных к вербальной последовательности коммуникативных средств, с одной стороны, и возможность vs. невозможность выхода из временного потока речи (ретроспекций), с другой — особенности, имеющие, как мы постараемся показать в дальнейшем, принципиальное значение для самого характера «переживания» адресантом и адресатом коммуникативного процесса¹⁵.

Надо сказать, что даже в тех работах, которые подчеркивают значение формы коммуникации, имеется в виду не столько противопоставление устной и письменной формы как таковой, сколько спонтанной и неспонтанной речи¹⁶, то есть противопоставление по форме кода оказывается осложнено указанием на один параметр, характеризующий особенности ситуации общения. В своем подходе, направленном на максимальное ограничение от ситуативных особенностей и выявление свойств кода как такового, мы снимаем и это ограничение. Следует подчеркнуть, что влияние формы речи самой по себе на ментальную сторону речевого акта так велико, что даже неспонтанная устная речь в принципе не отличается в этом плане от спонтанной. В самом деле, необходимо учитывать, что при неспонтанном произнесении (чтении наизусть, зачитывании готового написанного текста) обстоятельства если и меняются, то лишь для **говорящего**, но не для **слушающего**; иными словами, неспонтанная передача сочетается со спонтанным приемом, в принципе отличным от приема письменной коммуникации. Можно, далее, предполагать, что и говорящий интуитивно чувствует эту специфику в восприятии данного рода коммуникации, и это в свою очередь

¹⁵ Ср. гипотезу о том, что устная речь представляет собой переходную стадию между «внутренней речью» (по Л. С. Выготскому) и оформленной (кодифицированной) «сукцессивной» речью [11].

¹⁶ Указание на спонтанность устной разговорной речи находим во всех работах, оперирующих данным признаком. Ср. специальное обсуждение данной проблемы в [13].

накладывает определенный отпечаток на способ построения его неспонтанной речи, что делает последнюю специфическим феноменом уже и собственно со структурной точки зрения; ср., в частности, активное использование в этом случае смен темпа, тембра, динамики речи, а также жестов и мимики, т. е. средств, отсутствующих в письменной передаче.

Таким образом, с точки зрения характера образования смысла, а следовательно, и роли в стратификации семиотического механизма культуры — **всякая** устная речь может рассматриваться в качестве единого феномена, при всех различиях в способе ее реализации, тематике, ситуации и задачах общения. Этим понятие устной речи, которым мы будем оперировать в дальнейшем, отличается как от бытового стиля, как функциональной разновидности, не связанной с определенной формой реализации, так и от разговорной речи, как формы спонтанного общения.

В то же время надо признать, что различные сферы устной речи, будучи все без исключения отмечены принципиально объединяющими их чертами, реализуют данные черты не в одинаковой степени, и в связи с этим неодинаковой оказывается их характерность в рамках устной речи и их противопоставленность письменной речи. С этой точки зрения бытовая разговорная речь более отчетливо реализует специфику устной коммуникации, чем публичное выступление и тем более чтение письменного текста.^{16а} Однако данные различия не снимают того основного принципа, в силу которого сам по себе выбор письменной или устной формы сообщает речи специфические черты, проступающие сквозь все функциональные членения и спецификации речи.

К рассмотрению этих общих свойств устной коммуникации мы и приступаем.

2.1. | Первая особенность устной речи — ее **необратимость**. Любой письменный текст представляет собой обозримую последовательность элементов. Эту последовательность можно охватить глазом, на некотором протяжении, в целом, в совокупности нескольких следующих друг за другом элементов; можно ретроспективно вернуться к любой уже пройденной точке или участку текста; можно, далее, непосредственно визуально установить связь между любыми двумя, сколь угодно удаленными друг от друга, точками (участками) текста.

Все эти возможности полностью отсутствуют в устной речи, причем в неспонтанной речи в такой же степени, как и в спонтанной. | Устная речь представляет собой необратимую смену состояний, так что в каждой временной точке воспринимается только один сегмент текста (этим минимальным сегментом, единицей временной пульсации устной речи является, по-види-

^{16а} Эта мысль подробно аргументируется в кн. О. А. Лаптевой [30, стр. 46—48].

мому, **слог**). Невозможно непосредственное восприятие нескольких сегментов в совокупности; в этом проявляется специфика слухового восприятия, линейного по своей сущности, по сравнению со зрительным восприятием, способным к смене точки отсчета и, соответственно, объема участка, охватываемого одномоментным перцептивным актом — специфика, во многом определившая структурное соотношение изобразительных искусств и музыки. Невозможно также возвращение к какому бы то ни было однажды пройденному состоянию: повторения и исправления, весьма частые в устной речи, ничего не меняют в этом отношении, так как они **не вычеркивают** пройденные ранее (повторяемые или исправляемые) феномены, а **сменяют** их во временном следовании.

Говоря о данных операциях, мы имеем в виду, конечно, невозможность их осуществления только в сфере непосредственного восприятия, а не в памяти или воображении говорящего либо слушающего. Любопытно в связи с этим, что появление средств фиксации и воспроизведения устной коммуникации ничего в принципе не меняет в их соотношении с письменной речью с точки зрения указанных признаков, так как и при сколь угодно большом числе прослушиваний записи необратимость речевого потока и чисто ментальный характер всех производимых над ним операций полностью сохраняется, хотя сам объем и содержание этих операций может существенно измениться по сравнению с одномоментным восприятием.

Это отличие, т. е. возможность только ментальных операций сопоставления, соединения, ретроспекций и т. п. над устным текстом, определяет многое в характере как построения, так и восприятия последнего.

И правильное развертывание, и восприятие любого речевого феномена требует сопоставления и соотнесения между собой различных точек речевой цепи. Данное соотнесение оказывается необходимым как с точки зрения выполнения чисто формальных обязательств — правил синтаксического и морфологического построения (и соответственно декодирования), т. е. правил согласования в широком смысле, — так и для получения смысла некоторого речевого целого из смысла составных частей. Эти соотнесения могут быть очевидными и легко предсказуемыми, то есть, проходя данную точку текста, и адресант и адресат уже с большой определенностью прогнозируют и место появления, и характер некоторой другой точки, связанной с этой первой; но могут быть и гораздо менее определенными, так что находясь в данной точке текста, адресант, а тем более адресат, не знает точно, какая именно информация из этой точки и в каких именно последующих местах текста понадобится для произведения правильных синтаксических и семантических операций. Эта неопределенность не создает никаких затруднений на достаточно коротких

участках речи, целиком удерживаемых оперативной памятью, так что любая понадобившаяся в ходе развертывания информация оказывается налицо. Но уже в пределах достаточно длинного предложения возникают ситуации, при которых информация *x* из точки *A*, необходимая для синтаксического или семантического введения некоторой последующей точки *B*, отсутствует в оперативной памяти, либо потому, что последняя оказалась перегружена, ввиду объема и сложности речевой последовательности, либо (чаще всего) потому, что в момент прохождения точки *A* появление точки *B* не было с достаточной определенностью запрограммировано адресантом (и предсказано адресатом), вследствие чего не была специально зафиксирована в оперативной памяти информация *x*, оказавшаяся впоследствии необходимой для введения (или принятия) точки *B*.

Данное рассуждение вызывает очевидные реминисценции с **гипотезой глубины** В. Ингве. Однако Ингве рассматривает трудности, возникающие при построении предложения, как чисто синтаксический феномен — результат определенных свойств синтаксической структуры, переходящей определенный критический порог глубины. Мы же включаем в наше рассмотрение и **прагматический** аспект этого явления, имея в виду не столько случаи сложных левосторонних ветвлений синтаксического дерева (не столь уж частых в речи)¹⁷, сколько несравненно более распространенную неопределенность относительно того, какая именно информация и как долго должна храниться в оперативной памяти. Мы исходим при этом из того, что при достаточной протяженности предложения (даже с простой синтаксической структурой и малой глубиной) говорящий не имеет, ни в устной речи, ни в процессе письма, точного плана и достраивает общий рисунок фразы в ходе ее порождения.

Все сказанное здесь по поводу отдельных относительно протяженных предложений становится еще более актуальным, если мы обратимся к построению и принятию последовательностей предложений — частей текста и связного текста в целом. Здесь смысловые и формальные связи (согласование между именем и его субститутами и т. д.) могут проходить через еще более удаленные друг от друга точки текста и быть еще менее предсказуемыми, чем в пределах одного предложения. К тому же сами связываемые объекты могут оказаться весьма объемными единицами — вплоть до целых межфразовых блоков, — которые оказывается необходимым охватить целиком, чтобы произвести необходимое синтаксическое или семантическое соотнесение: зафиксировать продолжение определенной тематической линии, установить правильный модально-временной план или правильное соотнесение имен и т. д. При этом очевидно, что прогноз

¹⁷ См. о глубине фразы в разговорной речи: [48а].

дальнейшего развертывания текста у самого адресанта и адресата является достаточно приблизительным, а вместе с этим и представление о том, что и каким образом может в дальнейшем понадобиться из текущих речевых феноменов.

В этой ситуации и пишущий, и читающий в полной мере используют возможности, предоставляемые письменной речью. Перед ними не стоит заведомо невыполнимая задача удержать в памяти все течение речи — поскольку любой феномен может оказаться необходимым для правильного выполнения какого-либо последующего шага. Все то, что не удержалось в оперативной памяти, может быть в любое время возвращено простым обращением к уже написанной части, какой бы объем требуемый феномен ни занимал и как бы далеко он ни отстоял от текущего речевого момента. Более того, всегда оказывается возможным переделать уже построенный текст, начав с определенной точки заново, либо внося добавления и исправления в предыдущие части, необходимость которых стала видна лишь в ретроспекции. Наконец, возможно также в любой точке текста сделать остановку на сколь угодно долгое время, с тем чтобы планировать дальнейшее течение текста — опять-таки привлекая при таком планировании какие угодно уже пройденные части и имея возможность их переделки. Последние два аспекта (так же как и первый) относятся не только к деятельности пишущего, где они проявляются наиболее очевидным образом, но имеют актуальность и для читающего. Адресат письменной коммуникации может обнаружить в некоторой точке фразы или текста, что при декодировании смысла он избрал неправильный путь, либо что-то упустил, и возвратиться к какой-то точке назад для принятия альтернативного решения или восстановления упущенной информации; он может строить гипотезы о том, что последует дальше в этом тексте, и с этой целью прерывать процесс непосредственного следования за текстом, и может, наконец, заглядывать вперед, пропускать некоторые части, разрывая собственную временную последовательность текста, с тем чтобы убедиться в правильности своего прогнозирования, и т. д.

Не следует думать, что описанные явления связаны исключительно, или даже преимущественно, с официальной или беллетризованной речью, т. е. с ситуативно обусловленной необходимостью тщательной отделки и четкого планирования текста. В неофициальной переписке, в дневниковых записях и т. д. мы встречаемся с аналогичными элементами деятельности пишущего и читающего: остановки, обдумывание следующей фразы, перечитывание, вставки, исправления и т. п. представлены в этой сфере достаточно широко. Можно сказать, что объем и сложность такого рода работы скорее связана с длиной текста, чем с его функциональной сферой: короткая, в несколько слов деловая записка, заявление и т. п. скорее могут быть написаны (и проч-

тены) «на одном дыхании», без нарушений временного течения текста, чем длинное частное письмо.

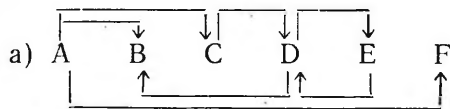
Итогом всего этого является четко **структурированный характер** письменной речи. Все синтаксические требования здесь могут быть точно выполнены, так как нашу память и способность к прогнозированию подстраховывают многообразные возможности выхода из временного потока речи; следовательно, эти требования и **должны быть** выполнены. В результате в тексте четко фиксируются связи между теми точками, и только теми, для которых эти связи предусмотрены языковыми правилами, и такие связи, и только такие, которые предписываются данными правилами. При этом каждый акт установления связи означает одновременно некоторое **ограничение**. Действительно, если в последовательности элементов текста ABC мы определим между A и B

связь вида $A \xrightarrow{x} B$ (A господствует над B в параметре x), то тем самым мы определим также, что между A и B не существует других (альтернативных) связей, и что данная связь не существует в других направлениях, между другими элементами этого текста. В результате и синтаксическое, и семантическое строение текста предстает в виде структуры — схемы с четко определенным положением каждого элемента относительно других элементов, со стрелками связей (зависимостей) между элементами и т. д. — т. е. в том виде, которому в принципе соответствует представление языка в рамках различных вариантов генеративной модели (вопрос о большей или меньшей адекватности того или иного из этих вариантов здесь не обсуждается). Смысловые компоненты текста (элементарные знаки — морфемы, слова, идиомы) выступают в качестве дискретных составных частей общего смысла фразы и, в конечном счете, всего текста; деривация смысла регламентирована и соответствует структурным правилам. Можно сказать, что смысл некоторого феномена (словосочетания, фразы, межфразового блока) целиком определяется характером его компонентов и характером связи между ними; он остается тождественным самому себе во всех случаях употребления данного феномена в письменной речи. Разумеется, существуют и альтернативные возможности семантической интерпретации, получающие разрешение в более широком контексте; но сами эти альтернативы конечны и все могут быть определены в рамках данного языкового феномена.

2.2. Иначе обстоит дело при устной коммуникации. Здесь отсутствует возможность выхода из временного течения речи. В связи с этим оказывается невозможным фиксирование всех синтаксических и семантических связей. Это проявляется при таком объеме коммуникации, который не может быть целиком удержан оперативной памятью, т. е. практически уже в пределах одной длинной фразы и тем более — последовательности фраз.

В итоге каждый новый элемент, появляющийся в речи, не получает своего точного структурного места в отношении других элементов. Конечно, некоторые его связи фиксируются — обычно относящиеся к ближайшему отрезку речи, не выпущенному еще оперативной памятью, а также иногда и к более отдаленным, но предсказуемым с высокой степенью обязательности, а потому и отложенным заблаговременно в оперативной памяти, отрезкам. Но это заведомо лишь часть параметров, определяющих положение данного элемента в структуре. Так как сказанное относится к каждому появляющемуся элементу, то в целом структурирование речи как говорящим, так и слушателем оказывается более или менее неполным.

Не следует думать, что данный фактор играет чисто негативную роль, т. е. что участники устной коммуникации просто улавливают меньше информации, чем при письме. Описанное явление имеет прежде всего **позитивный** смысл, так как определяет **принципиально иное отношение** к построению речи и извлечению ее смысла, по сравнению с письменной коммуникацией. Потеря структурных связей (хотя бы частичная) влечет за собой **снятие ограничений** в сопоставлении частей коммуникации между собой, которые имели место при более строгом структурировании. Не уловив связь х между элементами А и В в речи, не замкнув структурно данные элементы друг на друга, мы упустили необходимый структурирующий ход, но зато тем самым оставили открытой возможность более неопределенного (и более многообразного) сопоставления элементов А и В друг с другом и с любыми другими элементами. Можно сказать, что каждый вновь поступающий элемент устной речи оказывается в этом смысле потенциально сопоставлен со всей предшествующей речью — и с ее смыслом в целом (как он извлечен нами на данный момент речи), и с отдельными ее элементами, всплывающими в нашей памяти. Развертывание письменной и устной речи схематически в самом общем виде можно представить соответственно следующим образом:



б)
$$A \Rightarrow \overline{A/B} \Rightarrow \overline{AB/C} \Rightarrow \overline{ABC/D} \Rightarrow \overline{ABCD/E} \Rightarrow \overline{ABCDE/F}$$

В случае а/ (письменная речь) фиксированы все связи, в том числе и отдаленные, и ретроспективные; все элементы выступают дискретно — место каждого элемента уникально и определяется

принадлежащими ему связями с другими элементами. В случае б/ (устная речь) фиксируются лишь некоторые связи (преимущественно ближайшие); элементы теряют дискретность — они сопоставляются между собой, образуя неопределенные по форме и границам смысловые конгломераты, которые в свою очередь сопоставляются с вновь поступающими элементами, и т. д.

Доказательством того, что данное различие имеет место, служит прежде всего сам характер устной речи. Исследования синтаксиса разговорной речи, в настоящее время достаточно уже продвинутые, со всей очевидностью показывают, что спонтанная устная речь имеет в известной степени **антиструктурирующую направленность**, т. е. она не просто не может выполнить всех требований правильного построения, обязательных для письменной речи, но прямо **избегает** выполнять эти требования и во многих случаях **категорически обязана** их нарушать. Можно сказать, что устная речь во многих случаях культивирует деструктурирующий процесс: не довольствуясь теми обрывками связей, которые стихийно возникают из-за ограничений оперативной памяти, устная речь строится таким образом, чтобы и весьма очевидные, легко улавливаемые связи становились менее очевидными, ослабевали и рвались. Рассмотрим наиболее важные явления, в которых реализуется эта тенденция.

1/. **Инверсии и разрыв конфигураций.**

Как известно, в устной речи многочисленны перестановки элементов, в результате чего последние уходят со своей стандартной синтаксической позиции. Это само по себе уже затрудняет опознание их синтаксических функций. Но главное — инверсии сплошь и рядом приводят к тому (и строятся именно так), что непосредственно синтаксически связанные между собой элементы отрываются друг от друга в линейном расположении, перестают быть соседними элементами. Более того, обычной и прямо культивируемой формой является синтаксическая «чересполосица», при которой конфигурации пересекаются между собой.

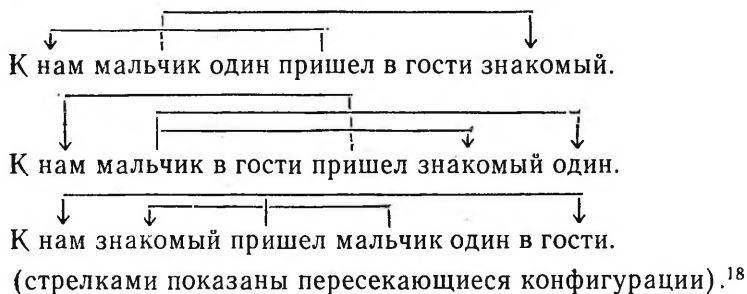
Рассмотрим, например, фразу:

Один знакомый мальчик пришел к нам в гости.

Совершенно очевидна ее неприемлемость в этом виде для устной коммуникации. Наименьшим преобразованием, делающим фразу минимально приемлемой, может быть, по-видимому, следующее:

К нам в гости пришел один мальчик знакомый. —

то есть инверсирование как группы подлежащего и сказуемого, так и главного и зависимого элементов внутри каждой группы. Однако возможны и более радикальные преобразования, приводящие к синтаксической чересполосице; они не только не затрудняют осознание фразы, но делают ее еще более естественной /в рамках устной коммуникации/:



Важным дополнительным средством создания такого рода пересечений служит широко употребительный в русской разговорной речи **квази-артикл** — определенный (*такой, этот*) и неопределенный (*один, какой-то*).¹⁹ Данный артикл часто выступает в постпозиции (*мальчик один, высокий такой* и т. п.) и очень легко отрывается от определяемого слова, создавая дополнительные разрывы и пересечения в конфигурационной структуре (ср. в предыдущем примере возможность варианта: *Мальчик знакомый к нам в гости пришел один*).

Непроективные построения являются характернейшей приметой разговорной речи. Данная черта проявляется на различных уровнях: не только в строении одной фразы, но и при сплавлении нескольких предикативных конструкций. Мы имеем в виду хорошо уже изученные в настоящее время построения типа:

*А что это за фильм я прочитал будет?*²⁰

Наконец, в актуальном членении фраз разговорной речи, как было замечено в некоторых недавних работах, наблюдается аналогичная «чересполосица» темы и ремы, и в частности, помещение ремы в **середине** фразы.²¹

2/. Перебивы речи.

В устной речи функционирует большая группа незначимых слов, единственная позитивная функция которых — осуществлять разрыв речевой ткани. Ср. в русском языке — *вот, значит, ну, так* (и их комбинации между собой) и ряд др. В спонтанной речи данные элементы выступают в качестве заполнителей паузы, необходимой говорящему для подготовки следующего речевого построения, отыскания нужного слова и т. д. Но интересно, что данные явления имеют место, хотя, конечно, в гораздо меньшем

¹⁸ См. о непроективности синтаксического дерева в разговорной речи [46, стр. 383—392].

¹⁹ Ср. наблюдения над употреблением и синтаксическими позициями местоимений (без фиксации, правда, артиклевой функции) в целом ряде работ: [42, стр. 20; 46, стр. 271 сл.].

²⁰ См. о различных типах полипредикативных построений: [55] (пример заимствован нами из этой работы); [56; 18; 46, стр. 394 сл.].

²¹ См. в особенности [50, стр. 129], а также [48, стр. 24].

объеме, и при неспонтанной речи. Можно предположить, что введение такого рода элементов частично обусловлено тем, что при этом ослабляются и забываются те структурные связи, которые без такого разрыва фиксировались бы памятью говорящего (слушающего). Кроме того, введение перебива освобождает говорящего от тех структурных обязательств, которые накладывала на него форма предшествующих отрезков речи, позволяет как бы начать построение сначала в любой точке, не доводя предыдущее построение до завершения. Ср.:

Пошли мы раз, ну знаешь на углу, там вот еще гастроним рядом, вот значит киоск такой.

Сами по себе перебивы уже служат предметом наблюдений в ряде работ. Однако не изученной остается позитивная функция в речи данных средств, как и других деструктурирующих явлений.²² Между тем несомненным является то, что длительное течение устной речи (даже неспонтанной) без перебивов является неестественным, т. е. введение перебивов в речь оказывается обязательным, не просто допускается, но **требуется** в устной коммуникации.

Аналогичную с перебивами функцию выполняют **повторы**,²³ тоже вполне обычные не только собственно в разговорной речи, но и в других сферах устной коммуникации, в том числе и при неспонтанной речи (поправки, «закрепление» ключевых мест путем их повторения и т. п.). Введение повтора разбивает синтаксическое построение речи, создает паузу в ее развертывании, в чем и проявляется сходство данного приема с чистыми перебивами.

3/. Активизация исходных форм слов.

Известно, что в разговорной речи очень часто имя выносится из середины фразы в маргинальную позицию (чаще всего в начале фразы), при этом ставится в форме именительного падежа, независимо от того, какая форма внутри фразы требовалась для этого имени его структурными связями. Ср. такие примеры:

Книга эта — где покупали?

Улица Гоголя — как пройти?

Колбаса за два-двадцать — мне триста грамм, пожалуйста, и т. п.²⁴

Заметим, что такого рода выносу могут подвергаться не только слова именных классов, но и глагол, который в этом случае получает форму инфинитива:

Письмо написать — это я завтра.

²² До сих пор описаны лишь отдельные случаи перебивов, что не дает возможности представить их более общие функции. См. [42; 43; 23].

²³ См. о повторах в разговорной речи: [46, стр. 365 сл.].

²⁴ Подробное описание «именительного темы» было впервые предпринято в работе [47, стр. 344 сл.]. В настоящее время наиболее разработанное описание этого явления дано в монографии [46, стр. 242—260]. См. также: [26; 30, стр. 136 и сл.].

Такого рода операции еще более усиливают разрыв синтаксической структуры. При наличии многократных операций данного типа словесная последовательность распадается на отрывочные сегменты, из которых вообще не складывается структурно оформленная фраза:

Пирожки свежие — только что купила — на углу магазин — свежие такие.

Заметим однако, что в данном случае особенно отчетливо проявляется позитивный смысл деструктурирования: расчленение фразы на обособленные сегменты и нанизывание слов в исходной форме облегчает то сопоставление и соположение частей высказывания, о котором мы говорили выше. В самом деле, попытаемся перевести последний пример в стандартную фразу письменной речи:

- /1/ Какие свежие пирожки я купила только что в магазине на углу!
- /2/ Эти пирожки такие свежие — ведь я их только что купила в магазине на углу.
- /3/ Эти пирожки такие свежие — ведь я их только что, на углу, купила в магазине.

Ни один из этих вариантов, и (можно с уверенностью утверждать) никакой другой, в принципе возможный, не передает вполне адекватно смысл устного сообщения. В варианте /1/ время и место покупки выступают в виде простых обстоятельств-указаний, и никак не связываются со свежестью пирожков. В /2/ и /3/ одно из этих обстоятельств или оба они выступают уже в качестве объяснения того, что пирожки свежие, но теряют зато роль указателей. В исходной фразе обе смысловые линии удастся совместить: когда после слова 'свежие' следует 'только что', и несколько далее 'на углу', эти последние в **сопоставлении** выступают как легкая (не зафиксированная со всей определенностью структурными связями) мотивировка, но в то же время сохраняют свое значение указателей места — то есть нет того снятия альтернативы, которое является неизбежным следствием проведения определенных структурных связей. Сам объект покупки получает специфическую характеристику в исходной фразе благодаря тому, что в начале выступает в виде единого наименования ('пирожки свежие'), а затем его качественный определитель выносится отдельно и эмпатизируется (благодаря маргинальной позиции во фразе); получающийся в результате смысл может быть приблизительно передан как 'свежие пирожки, и притом до такой степени свежие', т. е. одновременно присутствуют обе альтернативы осмысления прилагательного — как постоянного определения данного предмета (*свежие пирожки*, как постоянный объект покупки) и как «актуального» определения (подчеркивающего свежесть **именно этих** пирожков). Аналогично, в сег-

менте 'на углу магазин' зависимая часть выступает и как постоянное определение («магазин на углу», как некоторая стабильная единица), и как актуальное определение, указывающее на близость места **данной** покупки (и тем самым, как мы уже показывали, косвенно связывающееся также с **качеством** покупки: 'купленный поблизости → свежий товар').

Мы остановились с такой подробностью на разборе одной фразы, с тем чтобы показать позитивную сторону описываемых здесь процессов устной речи. Итак, в деструктурированном построении смысл отдельных частей свободно наслаивается друг на друга, оставляя сосуществующими альтернативные возможности и в то же время не давая полной определенности ни одной из альтернатив. Все сопоставлено со всем, и смысл целого вырастает из тех многообразных, не вполне отчетливых и не конечных ассоциаций, которые могут быть вызваны в нашем сознании соположением данных смысловых элементов — отдельных слов или минимальных тесно связанных словосочетаний, представленных в речи.

2.3. До сих пор в нашем обзоре устной речи мы оставались исключительно в пределах одной фразы. Однако все сказанное в предыдущем разделе в еще большей мере относится к масштабам целого текста. Здесь активные деструктурирующие тенденции устной речи выступают с наибольшей отчетливостью. Прежде всего, разрушаются границы между фразами. Исчезают дискретные предложения, связанные между собой по определенным правилам межфразовой сочетаемости. Речь строится в значительной степени в виде нанизывания синтаксических сегментов с формально не отмеченной их группировкой в синтаксически самостоятельные единицы.

Наряду с этим, в построении устной связной речи большую роль играют пересечения тематических линий и в связи с этим — многочисленные повторения, возвращения (в варьированном виде) предыдущих разделов.²⁵ С одной стороны, конечно, такие повторы помогают и говорящему, и слушающему скрепить единство речи, освежая в памяти, вновь актуализируя прежде пройденные ее участки. Но это скрепление идет отнюдь не путем синтаксического структурирования, как в письменной речи. В этом плане повторы играют (как и в построении отдельного высказывания) скорее негативную роль: они разрывают смежные разделы текста, нивелируя синтаксическую связь между ними. В результате создаются многочисленные тематические пересечения; мысль дробится, тематическая линия обрывается незавершенной, в связи с возвращением более ранних мотивов, чтобы затем вновь вернуться после некоторого перерыва, и в свою оче-

²⁵ Исследование данной проблематики, как мы уже упоминали, было впервые намечено в кн.: [50, стр. 121—126].

редь разорвать при своем возвращении текущее построение. Строение устного текста так же оказывается **непроективным**, так же характеризуется чересполосицей межфразовых связей, как и строение отдельного устного высказывания.

Важно отметить, что если в построении фразы целый ряд особенностей, и в частности непроективность, преимущественно связаны с неофициальной спонтанной речью (хотя в ослабленном виде встречаются и в других сферах), то в отношении строения текста в целом различные виды устной коммуникации — публичная и бытовая, персональная и массовая, диалогическая и монологическая — обнаруживают весьма значительное сходство.

Хорошо известно, что некоторое содержание, изложенное в устной форме, казалось бы, с предельной ясностью и отчетливостью, оказывается тем не менее очень трудно перевести в форму письменного изложения; и это несмотря на то, что при устном изложении мысль выглядела полностью разработанной, так что оставалось лишь «записать» ее. Аналогичным образом возможна и обратная ситуация, когда содержание, четко изложенное на бумаге, оказывается бледным и неясным в устном изложении. Причина заключается в том, что такие качества, как четкость, ясность, последовательность, совсем по-разному проявляют себя в устном и письменном изложении и соответственно выдвигают совершенно различные требования в этих двух случаях. Четкость письменного изложения мысли определяется тем, насколько удалось организовать ее развертывание в виде связной последовательности, в которой каждый последующий раздел находится в определенных связях с предыдущими и в свою очередь детерминирует дальнейшее развертывание также определенным образом. Ясность же устного изложения зависит от того, насколько хорошо выполнены все те сопоставления смысловых блоков, которые важны для генерирования общего смысла сообщения; т. е. насколько своевременными были возвращения того или иного блока в речь, насколько удачно были скомпонованы контакты между частями, независимо от того, состояли ли эти контакты в выведении одной части из другой или производились в виде простого соположения в тексте. В общем виде смысл устного изложения ощущается как «нелинейный» — он организуется произвольными перестановками блоков так, чтобы все полезные сопоставления смысловых частей (ассоциирование которых работает на формирование смысла целого) были получены. Понятны поэтому трудности, возникающие, когда смысл, генерированный таким образом, должен быть организован в «линейную» форму, где порядок следования и способ присоединения частей приобретает первостепенную важность. Соответственно смысл, генерированный первоначально путем последовательного вывода, нуждается в существенной переработке при переводе в систему, где это его качество не может быть прослежено в полной мере, и где

зато требуется многообразное, многомерное сопоставление и ассоциирование составных частей. Вот почему превосходное устное изложение при слишком близкой письменной передаче оставляет впечатление хаотичности, несвязности и назойливой повторяемости; с другой стороны, превосходное письменное изложение может оставить в устной передаче впечатление бедности, непроявленности смысла. (Заметим, однако, что при неспонтанной устной речи, т. е. воспроизведении письменного текста, в распоряжении говорящего имеется целый ряд дополнительных средств, таких как мелодика речи, жесты, слова-перебивы и т. д., умелое использование которых придает тексту характер полноценной коммуникации; это еще раз подтверждает ту мысль, что неспонтанная устная речь по своим определяющим признакам принадлежит устной, а не письменной сфере).

3.1. До сих пор, анализируя устную и письменную речь, мы оставались в пределах **вербальной последовательности**, т. е. того круга явлений, который зафиксирован в письменной передаче и потому легче всего поддается сравнению и описанию. Уже на этом этапе выявились существенные особенности устной речи в использовании и организации данной последовательности. Однако специфика устной речи состоит также в том, что для нее вербальная последовательность является лишь одним из нескольких, параллельно работающих каналов, по которым осуществляется коммуникация, так что конечный результат определяется совмещением и взаимодействием данных каналов. В связи с этим рассмотрим теперь подробнее те феномены устной речи, которые не коррелируют непосредственно с письменной коммуникацией.

Важнейшим каналом передачи, действующим в устной речи синхронно наряду с вербальной последовательностью, является **мелодика**. Под мелодикой будем понимать совокупность всех звуковых явлений речи, не связанных с реализацией сегментных (т. е. дискретных и расположенных в линейной последовательности) единиц — звуков, слогов, значимых сегментов текста. Мелодика состоит из целого ряда компонентов, которые целесообразно рассмотреть раздельно.

1/. Интонация

Интонация в свою очередь состоит, во-первых, из звуковысотного движения голоса (так сказать, мелодики в узком смысле), и во-вторых, из логических ударений. Заметим, что место логического ударения обычно совпадает со словесным ударением, которое является частью звуковой реализации вербальной последовательности, т. е. относится к работе другого (вербального) канала. Однако данные явления довольно легко различаются: словесное ударение само по себе не связано с мелодическим движением тона (в случае экспираторного ударения), либо дает

определенное, фиксированное и стандартное движение тона (мелодическое ударение);²⁶ в то же время логическое ударение всегда связано с изменением мелодики,²⁷ и притом таким, которое не имеет в языке строго фиксированного набора стандартных состояний — как не имеют его и другие явления, связанные с мелодикой речи (см. ниже).

2/. **Динамика.**

Здесь имеется в виду, с одной стороны, общая громкость речи, с другой — сила выделения отдельных акцентов (логических ударений). При этом значимыми оказываются не только те или иные состояния речи с точки зрения динамики («громкая» vs. «тихая» речь), но и характер **смены** этих состояний: быстрое либо постепенное нарастание/убывание динамики, степень контрастности и т. д.

3/. **Темп.**

Имеем в виду опять-таки не только абсолютную скорость речи, но и характер смены темпов: ускорение vs. замедление, резкое vs. плавное переключение.²⁸

4/. **Регистр.**

Помимо мелодического движения голоса, определяемого интонацией, существенной является та общая звуковысотная зона, в пределах которой совершается данное движение («высокий» vs. «низкий» и т. д. регистр). Надо заметить, что, когда мы говорим о регистре, то имеем дело с двумя явлениями, которые также полезно различать. С одной стороны, это **абсолютный регистр**, т. е. звуковысотная зона, определяемая относительно наших сведений о диапазоне человеческого голоса вообще. Данное явление более относится к индивидуальному речевому портрету говорящего, чем к характеристике смысла передаваемой им информации, т. е., исходя из показаний абсолютного регистра, мы прежде всего делаем заключения о возрасте, поле, отчасти физических данных говорящего (если мы его не видим). Все же и на смысл передаваемой коммуникации абсолютный регистр может иметь некоторое влияние, хотя бы через посредство тех представлений об адресанте, которые он дает, и тех типизированных представлений об «амплуа» различных речевых портретов, которые формируются в рамках определенной культурной традиции. Ср. ассоциацию чрезмерно высокого (мужского) голоса с «лицемерием», низкого — с «грубостью», умеренно низкого — с «мужественно-

²⁶ Детальное рассмотрение вопроса о соотношении интонации и словесного ударения, как разнопорядковых явлений, содержит книга [45, стр. 50—63].

²⁷ Ср. описание логического ударения в связи со звуковысотной характеристикой речи /фиксируемой в нотной записи/ в кн.: [58].

²⁸ См. отдельные замечания о темпе, или «ритмике» речи: [42, стр. 19].

стью» и т. д.²⁹ (Данные амплуа отражаются в стандартном использовании соответствующих голосов в пении, которое в свою очередь способствует закреплению соответствующей коннотации и для повседневного языкового употребления).

Гораздо большее значение для формирования смысла передаваемого сообщения имеет **относительный регистр**, т. е. звуковысотная зона, определяемая относительно диапазона голоса данного говорящего. Ясно, что показания абсолютного и относительного регистра могут не совпадать: возможна, например, речь в абсолютно низком и в то же время относительно высоком регистре (человек с низким голосом, говорящий в высокой для себя звуковысотной зоне). Слушатель интуитивно подстраивается к общей характеристике голоса говорящего и в соответствии с этим опознает, какую звуковысотную зону говорящий использует, а также фиксирует смену звуковысотных зон.

5/. Тембр.

Данное явление тесно связано с регистром, в особенности с относительным регистром. Тем не менее существуют некоторые тембровые явления, не связанные с заметными изменениями звуковысотной зоны. Ср. такие стандартные, зафиксированные в языковых определениях, тембровые характеристики речи, как «глухой», «сдавленный», «пронзительный», «ласковый», «мягкий», «ледяной» и т. д. голос («тон»). Заметим, что данные определения оказываются весьма близки тем, которые даются музыкальным инструментам для характеристики их тембра.³⁰

6/. Агогика.

Мы используем данный музыкальный термин для характеристики **связывания** сегментов речи между собой. Здесь можно выделить, прежде всего, такие характеристики, как «плавная» vs. «отрывистая» речь. Далее, сюда же относится противопоставление отчетливой (раздельной) и нечетливой («редуцированной») речи.³¹ К явлениям агогики можно, по-видимому, также отнести такие дополнительные характеристики речи, как «дрожащий», «прерывающийся» и т. п. голос.³²

²⁹ Ряд интересных исследований персонологической и коннотативной характеристики тона речи предпринят в последнее время К. Р. Шерером. См., напр. [70; 71].

³⁰ Отдельные замечания о роли тембра встречаются в ряде работ по общей фонетике. См. [45, стр. 72; 16, стр. 286 сл.]. Интересны специальные наблюдения над ролью тембра в работе: [21, стр. 9].

³¹ Ср. характеристику стилей произношения («полного» и «аллегрового») у Л. В. Щербы, где, однако, не дифференцированы такие параметры, как собственно темп и агогика (очень быстрый темп может в принципе сочетаться с отчетливой артикуляцией).

³² См также некоторые наблюдения над данными явлениями в [46, стр. 148—149].

Специфика всех перечисленных нами параметров по сравнению с вербальной последовательностью состоит, прежде всего, в том, что они не оперируют каким-либо стандартным набором дискретных элементов. Каждый из выделенных нами параметров предполагает наличие ряда зон, границы между которыми оказываются размытыми. Так, в той или иной интонационной конструкции может быть предписано повышение или понижение тона, но, по-видимому, данное мелодическое движение не может быть точно регламентировано в звуковысотном отношении: определенным может быть линейный мелодический рисунок интонации, но не ее точное звуковысотное воплощение. Аналогично, различные характеристики темпа, динамики, тембра, регистра и т. д. не отделены с абсолютной четкостью друг от друга и поддаются лишь приблизительному определению. Мы можем поэтому называть данные явления **модусами речи**, в отличие от элементов стратификационной структуры, развертываемых в вербальную последовательность. Модусы образуют как бы некоторое поле, в котором происходит данное развертывание. Так, характеристика темпа, динамики, тембра, задаваемая при развертывании речи, оказывает непосредственное влияние на звуковое воплощение фонем и характер соединений между фонемами. Таким образом, устная речь строится как бы в двух планах (по двум каналам): модусы мелодики, принимая определенное состояние, задают некоторый режим, в котором происходит работа стратификационного механизма; этот режим, а также его смены в ходе развертывания, улавливается и слушателем, который в соответствии с данным режимом настраивает свой декодирующий языковой механизм.³³

Таким образом, окончательная форма, которую принимает устная речь, образуется в результате взаимодействия вербального и мелодического компонентов. Аналогичным образом можно представить себе и образование **смысла** устной коммуникации. И вербальная последовательность, и мелодика играют роль смыслообразующих факторов, и конечный результат достигается их совмещением и взаимным наложением; в образовании смысла устной речи данные два канала так же сложно взаимодействуют, как и в образовании материальной формы высказывания.³⁴

Описанное явление совершенно отсутствует в письменной речи. Правда, знаки препинания, а также знак ударения и сис-

³³ См. подробнее о модусах и их взаимодействии со стратификационной структурой в связи с описанием механизма музыки в нашей работе [8].

³⁴ Мы не согласны с высказываемым иногда мнением, что элементы мелодики (за исключением интонации) придают речи лишь дополнительные «эмоциональные», «экспрессивные» и т. п. оттенки (ср., напр., [4, стр. 162; 57, стр. 55]). Недооценка роли данных факторов в образовании и переключении смысла высказывания связана прежде всего с их малой изученностью. /Ср. также аналогичный подход на иноязычном материале — [68]/.

тема шрифтов (курсив, разрядка и т. д.) как будто отчасти воссоздают интонационную структуру фразы — мелодический рисунок и логическое ударение.³⁵ Однако данные явления письменной речи существенно отличаются от мелодики устной речи. Во-первых, они представлены в определенных точках вербальной последовательности, в то время как мелодика сопровождает все течение устной речи; то есть соответствующие письменные знаки включены в линейную последовательность элементов и синхронизированы с определенными точками этой цепи, в то время как мелодика образует постоянно действующий параллельный канал передачи. Во-вторых, письменные знаки дают конечное число дискретных состояний, которые соответствуют этим знакам, например, наличие или отсутствие эмфазы в определенной точке, обычное утверждение ./, обычный вопрос /?/ или вопрос с эмфазой /?! или ??/, утверждение с эмфазой /!/, и т. д. Иначе говоря, данные знаки являются дополнением к набору стратификационных единиц, действующим в принципе так же, как и сами эти единицы, а отнюдь не механизмом принципиально иного порядка, со своим особым устройством и способом работы, как устная мелодика. В письменной речи действует один канал, генерирующий последовательность элементов (в которой, наряду с другими элементами, участвуют и синтаксические знаки); в устной же речи действуют два канала, совмещение которых дает нелинейный эффект.

Правда, в письменной речи имеется один параметр, действие которого является сплошным на всем протяжении письменного текста, так же как действие мелодики в устной речи. Мы имеем в виду характер исполнения письменных знаков — почерк, размер букв, расположение текста на бумаге. Следует признать, что характер действия данных компонентов письменного текста во многом сходен с ролью мелодических параметров устной речи: укажем на недискретный (модальный) характер ценностей данного порядка, их постоянное взаимодействие с элементами вербальной письменной последовательности. Нельзя отрицать также, что данные явления служат не только для персонологической характеристики (создания речевого портрета пишущего), но могут оказывать влияние и собственно на смысл письменного сообщения.³⁶

Различие между устной и письменной речью в этом случае состоит в **степени обязательности** модального канала. Для письменной речи он факультативен, поскольку широко распространена такая форма письменного сообщения, при которой данный

³⁵ Обзор литературы по проблеме соотношения пунктуации и интонации содержит книга: [40, стр. 25—31].

³⁶ См. интересный анализ соответствующей роли орфографических вариантов: [10].

канал оказывается полностью нейтрализованным или редуцированным до минимума: таков всякий текст со стандартным шрифтом (типографским, машинописным, чертежным и т. д.). Огромное число текстов, исполненных таким образом, легкая переводимость подавляющего большинства (хотя и не всех) рукописных текстов в стандартную шрифтовую форму свидетельствует о второстепенной и вспомогательной роли описываемого фактора.

С другой стороны, мелодика сопровождает устную речь в обязательном, можно сказать, принудительном порядке: устная речь просто не может быть построена без мелодической характеристики. Даже официальное устное сообщение, имеющее тенденцию к максимальной стандартизации формы, не лишено определенной модальной характеристики; в этом отношении официальный (дикторский) устный текст отнюдь не может быть оценен как текст с «нулевой мелодикой», в то время как письменный текст стандартной формы может быть определен как текст с «нулевой» перформационной характеристикой.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совмещение двух механизмов (каналов) передачи, обнаруживаемое в устной речи, не имеет сколько-нибудь развернутых соответствий и аналогий в письменном тексте. Следовательно, данное явление составляет отличительную черту устного способа коммуникации.

3.2. Помимо вербального и мелодического, в устной речи действует еще один, сопоставимый с ними по значимости, канал передачи — **визуальный**. Он охватывает невербальные компоненты, постоянно сопровождающие устную речь и зрительно воспринимаемые адресатом сообщения.

До появления телефона, радиосвязи и средств механической записи визуальный канал обладал такой же степенью обязательности, как вербальный и мелодический. Конечно, возможны были ситуации общения с невидимым собеседником, но данные ситуации имели явно секундарный характер, выступая как особый случай на фоне нормы — передачи с участием визуального канала; ср. в этой связи специальную функцию «голоса за сценой» в театре, отражающую особый статус данного способа общения.

Распространение в течение последних ста лет средств хранения и передачи на расстоянии устной речи отчасти изменило ситуацию. Надо, однако, заметить, что некоторое время телефонная и радиосвязь использовались главным образом в узкоспециальных целях, для передачи строго определенной, ограниченной по характеру информации, и в этом качестве могли рассматриваться в одном ряду с другими узкоспециализированными формами передачи, такими как телеграф, флажковая сигнализация и т. п., а не как устная речь в собственном смысле, то есть не как реализация одного из двух основных и универсальных способов коммуникации. Когда же невизуальная форма устной ком-

муникации получила действительно широкое и универсальное распространение и функционально практически совпала с другими формами устной речи, — отсутствие визуального канала стало ощущаться как **недостаток**, о чем свидетельствуют современные тенденции в развитии техники связи: радиосвязь постепенно вытесняется телевизионной, появляется видеотелефон и видеомагнитофон. Интересно, что период подавления визуального канала передачи, в связи с широким распространением радио и телефона, — т. е. первая половина XX века — совпадает, как это будет показано в дальнейшем, с эпохой кризиса и перелома в развитии взаимоотношений между устной и письменной речью, складывавшихся до этого на протяжении очень длительного времени.

Итак, в целом можно констатировать, что визуальный канал, если не достигает той степени константности и обязательности, какая свойственна мелодическому и вербальному аспекту, в целом играет очень существенную роль в передаче устного сообщения и может быть рассмотрен как один из основных компонентов передачи, в принципе постоянно взаимодействующих с другими основными компонентами.

Основными параметрами, в которых осуществляется работа визуального канала, можно считать **мимику, жесты и направление и характер взгляда**. Даже при малой изученности данных явлений в настоящее время, очевидно, что мимика и жесты говорящего, во-первых, участвуют в образовании смысла передаваемого сообщения и могут существенно влиять на смысл передаваемого целого; во-вторых, говорящие на разных языках пользуются разными системами мимики и жестикуляции, т. е. данные системы регулируются определенными правилами, так что владение этими правилами оказывается обязательным для обеспечения адекватности языкового поведения. То же можно сказать и о взгляде говорящего, направление и характер которого дают так много различных состояний, накладывающихся на речь, что, по-видимому, могут рассматриваться в качестве самостоятельного параметра, наряду с мимикой.³⁷

Заметим, что при непосредственном устном общении визуальный канал характеризуется такой же константностью и обязательностью, как и мелодический. Он не может быть выключен; полное отсутствие мимики и жестикуляции не есть результат

³⁷ Из трех названных нами параметров относительно изученной является жестикуляция. Одним из первых исследований в этой области (где, правда, жестам приписывались лишь вспомогательные коммуникативные функции) была работа [7]. Более полная семиотическая модель содержится в [72]. Большим достижением в этой области явилась разработка различных систем нотации жестов (ср., напр., [62; 69]). Наконец, появились уже исследования, посвященные роли жеста в разговорной речи: [9; 20], и — с наибольшей пока подробностью: [46].

отклонения (нейтрализации) визуального канала, а воспринимается как **значимое состояние** данных параметров речи, подобно тому как отключение некоторых мелодических параметров (монотонная, «без выражения», речь) является одним из состояний мелодической системы.

Общей чертой визуальной и мелодической систем является также их недискретный характер. Параметры визуального канала образуют ряд не отделенных четко один от другого и неконечных состояний-модусов, так что модальная визуальная система совмещается в целом с вербальной последовательностью таким же образом, как и мелодическая система.

Тремя названными нами каналами — вербальным, мелодическим и визуальным — по-видимому, исчерпывается список существенных компонентов, из которых складывается устное сообщение, — компонентов, присутствие которых в устной речи является обязательным или, по крайней мере, отсутствие оказывается значимым. Кроме этого, можно выделить еще целый ряд явлений, включение которых может так или иначе влиять на смысл устного сообщения, но которые уже нельзя рассматривать в качестве постоянно действующих факторов. Попробуем перечислить данные явления.

1/. **Кинетический фактор** — перемещения говорящего относительно слушающего. Кинезис речевого процесса можно отделить от жестикуляции, ограничив последнюю движениями, не изменяющими взаимное расположение в пространстве говорящего и слушающего. Направление и скорость перемещений говорящего, частота смены направлений (амплитуда движения), равномерность vs. неравномерность перемещения могут выступать в качестве значимых факторов в рамках кинетического параметра.

2/. **Спациальный фактор** — пространственное расположение говорящего и слушающего, или, точнее, **расстояние** между различными точками тела говорящего и слушающего.

3/. **Тактильный фактор** — соприкосновение говорящего и слушающего в процессе речи.

4/. **Парафонетический фактор** — наличие в речи звуков, не связанных с вербальными и мелодическими явлениями, таких как смех, плач, вздохи, прищелкивание пальцами, хлопки и т. д.³⁸

Факультативность всех перечисленных здесь явлений определяется тем, что их отключение не только возможно, но не воспринимается как «нулевое состояние», т. е. как значимое отсутствие; поэтому их влияние на смысл сообщения имеет место только в моменты их подключения к речи. Так, статичная поза гово-

³⁸ Обзор литературы, в частности, по кинетике и паралингвистике, содержит статья [41]. Исследование собственно парафонетических явлений представлено в работе [44]. См. там же (со ссылкой на неопубликованную работу Н. В. Юшманова «Экстранормальная фонетика») замечания о роли темпа, тона и тембра речи.

рящего (например, если разговор ведется сидя) не воспринимается позитивно, как отсутствие кинезиса, — в этом случае кинетический фактор просто не работает в коммуникации. Аналогично, спациальный фактор действует только на достаточно близком расстоянии между говорящим и слушающим — отсутствие близкого контакта, а также непосредственного соприкосновения воспринимается как нейтральное «нормальное» состояние, и т. д. По степени обязательности данные параметры можно приравнять к перформационным явлениям письменной речи (почерку и др., см. § 3.1.).

Таким образом, устная речь всегда строится в виде совмещения нескольких (трех или по крайней мере двух) каналов передачи, сохраняющих относительную автономность, в то время как письменная речь строится по одному постоянно действующему каналу. (Мы отвлекаемся сейчас от дополнительных факультативных факторов, которые могут эпизодически подключаться как к устной, так и к письменной речи, поскольку данные факторы, именно в силу своей необязательности, не определяют принципиальный характер речевой деятельности). Можно сказать, что если в письменной речи временная однонаправленность преодолевается благодаря возможностям выхода из речевого потока, то в устной речи аналогичный результат достигается благодаря тому, что и говорящий и слушающий следуют одновременно за несколькими каналами коммуникации, т. е. находятся одновременно в нескольких развертываемых во времени последовательностях, хотя каждая из них в отдельности не обладает свойствами обратимости и не дает возможности выхода за пределы ее временного развития.

Очевидно, что с учетом многоканального характера устной речи принцип сопоставления и наложения различных феноменов при генерации смысла, рассмотренный в § 2, получает дальнейшее развитие. Мы можем говорить теперь не только о совмещении разных сегментов вербальной последовательности, но и о взаимодействии различных сегментов, относящихся к разным каналам, между собой. При этом ясно, что такое совмещение охватывает не только синхронные участки данных каналов; мысленно могут быть сопоставлены любые два участка общего процесса развертывания речи. Например, некоторый жест, одновременно переданный по визуальному каналу, может относиться к дальнейшему течению речи на значительном протяжении, и следовательно, накладываться на информацию, генерируемую вербальным и мелодическим каналом, на всем соответствующем участке; либо, напротив, жест может замыкать вербальную последовательность, и ретроспективно апплицироваться к этой последовательности, внося соответствующую коррекцию в ее смысл. Точно так же смена мелодических характеристик речи — например, регистра, темпа, динамики — может оказаться значи-

мой не только непосредственно для того вербального участка, на котором произошла эта смена, но и, по контрасту, для предшествовавшей этому части устной коммуникации, и т. д.

3.3 Мы рассмотрели две основные особенности, отличающие устную речь от письменной: отсутствие временной обратимости при развертывании речи и наличие нескольких относительно автономных и одновременно развертываемых каналов передачи. Как видим, оба эти свойства тесно связаны друг с другом и в совокупности конституируют те особые качества, которыми отличается смысл устной коммуникации. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что форма кода оказывает влияние на характер передаваемого с помощью этого кода смысла; смысл не безразличен к той форме, в которую он облекается в речи.³⁹ В итоге — смысл, конструируемый в устном сообщении, обладает несколькими существенными особенностями.

Во-первых, это **неструктурированный** смысл. Устная речь не знает деривации смысла, как дискретного наращивания структуры, вернее, данное явление имеет место лишь в весьма ограниченных пределах и играет второстепенную роль. Главным принципом генерации смысла является многоплановое и многократное наложение и совмещение отдельных компонентов. Смысл возникает в виде «пятна» — неструктурированного комплекса, в котором соотношения составляющих его частей однозначно не регламентированы; соответственно каждое текущее прибавление происходит на фоне этого уже имеющегося смыслового комплекса в целом и инкорпорируется в этот комплекс, вступая в такие же неопределенные и многомерные связи с его частями. С каждым тактом развертывания речи «пятно» увеличивается в общем объеме, становятся более многообразными процессы семантической индукции внутри него (т. е. генерация смыслов на ассоциативных пересечениях составных частей); но нет продолжения, как линейного процесса, т. е. появления дискретных новых семантических ветвлений, новых точек структуры и т. д.

Смысл устной речи — сложный, многообразный, богатый оттенками, непередаваем полностью в этом своем качестве за пределами данного способа коммуникации; но, с другой стороны, это смысл диффузный, дезартикулированный, с неопределенными контурами и границами — скорее **смысловой образ**, чем дискретная и структурированная **информация** в собственном значении этого слова.

Далее, смысл устной речи является **открытым**. Число и характер связей между отдельными частями устной речи не лимитированы и принципиально не могут быть исчислены, поскольку

³⁹ Данный вывод не совпадает с концепцией генеративной семантики и модели «смысл \leftrightarrow текст», в рамках которых не рассматривались последствия, связанные со сменой формы кода и типа речевой деятельности.

сопоставляться могут самые различные, в том числе и совершенно разнородные феномены. Поэтому и смысл целого не может быть выведен как единственный и конечный результат определенных операций. И генерация, и извлечение смысла устной речи — это открытый процесс, при котором некоторые параметры сознательно конструируются говорящим, другие возникают попутно, как побочный результат, и осознаются говорящим уже непосредственно в процессе речи, третьи вовсе оказываются незамеченными и непредсказанными говорящим. Аналогичный принцип выборочности действует и при приеме информации слушающим, причем, конечно, картина, получаемая слушающим, не обязательно полностью соответствует интенции говорящего. Такая выборочность является **заведомой** и для говорящего, и для слушающего (разумеется, не для их языкового сознания, а для интуиции). Говорящий, строя устную речь, проектирует некоторые наиболее существенные параметры, которые обязательно должны быть приняты слушателем; в остальном — он как бы запускает генерирующую смысл машину, дальнейшая работа которой, как в отношении ее воздействия на слушателя, так и в отношении обратной связи с сознанием самого говорящего, остается не полностью детерминированной и предсказуемой.

Наконец, смысл устной речи является **невоспроизводимым**. С одной стороны, открытое число факторов, конституирующих смысл, и недискретный (модальный) характер некоторых из этих факторов, таких как мелодика и визуальные феномены, делает почти невозможным точное воспроизведение однажды порожденного устного текста человеком (т. е. без помощи средств механической записи); а любое изменение материальной формы текста — даже при сохранении вербальной последовательности и основных параметров мелодики и визуальной передачи — может иметь влияние на смысл. Но даже при механическом воспроизведении, то есть при абсолютном точном повторении материальной формы устного текста — открытый характер смысла, о котором мы говорили выше, приводит к тому, что генерация смысла при повторении устного сообщения не совпадает полностью, и результат осмысления текста всякий раз оказывается несколько иным. Следовательно, всякий акт устной коммуникации оказывается уникальным с точки зрения передаваемой информации; воспроизведение текста не воспроизводит раз переданный и принятый смысл, и является актом генерации нового (разумеется, частично нового) смысла.

С другой стороны, письменная речь обладает более бедными возможностями построения смысла, но зато возможностями конечно определяемыми и дискретными. Сообщение оказывается в этом случае более «плоским», но зато имеющим определенную структуру и границы. Это **структурированный** смысл: каждый новый ход означает разрастание структуры — появление новых

дискретных точек смысла, соединенных стрелками-зависимостями с уже ранее развернутыми точками. Семантические ходы могут иметь и ретроспективный характер, отсылать нас к предшествующим состояниям, давать команды на частичное переписывание предшествующих участков структуры. Но и в этом случае они сохраняют дискретный последовательный характер, так что построение смысла происходит путем определенного числа ходов, и смысл может быть свернут обратным проведением тех же ходов; соответственно каждый определенный ход имеет также вполне определенный, фиксированный в языковых правилах эффект (или фиксированный альтернативный набор эффектов, выбор из которого детерминируется дополнительными факторами). Поэтому, далее, смысл письменной речи является **закрытым**, так как строится на соединении определенных компонентов по определенным правилам. Он может быть исчерпывающим образом продуман пишущим, реализован в письменном тексте и принят через посредство этого текста читающим.

Наконец, смысл письменной речи обладает свойством воспроизводимости, т. е. его конечный характер обуславливает тождество смысловой генерации при каждом акте воспроизведения и приема данного текста. Вот почему, кстати, повторения в устном тексте отнюдь не тождественны повторениям в письменном: в первом случае каждый повторенный в разных точках текста феномен инкорпорируется в различные состояния смыслового комплекса, а следовательно, каждый раз вводит новый смысл; во втором же случае, т. е. в структурированном построении, каждый повторяемый феномен всякий раз ложится на ту же определенную для него точку структуры, т. е. приносит лишь задержку и перерывы в развитии этой структуры, не генерируя никакого нового качества. Письменный текст выступает как средство хранения, воспроизведения и передачи стандартной и стабильной информации, а не как средство открытой генерации смысла.

Соотношение между устной и письменной речью может быть метафорически описано как соотношение между эскизом и чертежом конструкции. Информация о конструкции, получаемая этими двумя способами, существенно различается; обратим в этой связи внимание на открытость и некоторую неопределенность информации, получаемой из эскиза, уникальность эскиза (одна конструкция может быть представлена в бесконечном множестве различных эскизов, в то время как ей в принципе соответствует одна схема) — то есть качества, напоминающие устную речь, в ее соотношении с письменным текстом.

Говоря о различии между устной и письменной речью, нельзя абсолютизировать эти различия. Конечно, структурирующий принцип играет определенную роль и в построении смысла устной речи; поэтому при воспроизведении устного текста значи-

тельная часть информации заведомо регенерируется. С другой стороны, принцип неструктурного сопоставления и инкорпорирования может работать в письменном тексте даже для отдельных сегментов вербального канала и тем более — при наложении на вербальный текст добавочной информации, связанной с перформационными явлениями; соответственно, смысл письменного текста может не исчерпываться и не закрываться обнаруживаемой в нем семантической структурой, и воспроизведение письменного текста не будет в этом случае только фактом повторения данной структуры, но приведет к частичному изменению получаемого семантического результата.

Однако если нельзя говорить об абсолютном различии, то во всяком случае можно утверждать, что письменная и устная речь достаточно четко различаются общей доминирующей тенденцией в отношении выбора средств и способов генерации смысла. То, что для одного типа речи выступает как доминирующий способ, заложенный в коренных фундаментальных свойствах данного типа, — то для другого типа оказывается периферийным, спорадически и факультативно проявляющимся явлением. В целом устная и письменная речь нацелены на две различные стратегии языкового поведения и располагают хорошо разработанной системой средств, в которой эта их различная направленность проявляется. Функциональное различие устной и письменной речи опирается в большей степени на те их свойства, которые были описаны выше, чем на особенности ситуаций, в которых они употребляются. Действительно, письменная речь может протекать в условиях весьма конкретной ситуации (обмен записками — письменный диалог), но и в этом случае не теряет своего основного качества и оказывается не тождественной соответствующему по общему содержанию устному тексту. С другой стороны, устная речь, не апеллирующая к конкретной ситуации (публичное выступление, доклад), и даже не обладающая спонтанностью, сохраняет особенности устной коммуникации.

В то же время наличие частичных, периферийных пересечений между свойствами устной и письменной речи создает возможность их сближения и образования переходных форм, как особого стилистического приема. Последнее может стать важной коммуникативной задачей, занимающей большое место в языковой деятельности социума. Примером может служить вся европейская художественная литература нового времени, которая, оставаясь в рамках письменного способа передачи, в то же время вторично завоевывает ряд качеств, изначально связанных с устной коммуникацией. Характер данного процесса, а также его значение и последствия для развития взаимоотношений между устной и письменной речью, будет специально рассмотрен ниже [§ 5.2]. Сейчас же, исходя из проделанного анализа, попытаемся определить тот культурно-исторический фон, на который может

быть проецирована специфика устной и письменной речи, иными словами — сделаем попытку дать этой специфике **семиотическую интерпретацию**.

4.1. В культурно-историческом плане соотношение между устной и письменной речью представляется возможным сопоставить с корреляцией **мифологического** и **исторического мышления**. Данная корреляция привлекает к себе пристальное внимание современной науки.⁴⁰ Укажем сейчас на те ее параметры, которые наиболее существенным образом связаны с рассматриваемой здесь параллелью.

1/. Историческое представление является **дискретным**, расчленяющим временную последовательность на ряд отделенных друг от друга элементов — событий. Мифологическое мышление не знает такого расчленения. Каждое новое явление выступает в качестве репродукции некоторой первоначальной схемы, так что все диахронически последовательные события оказываются совмещены — сплавлены в единое мифологическое представление и соприсутствуют в каждом следующем такте развития во времени.⁴¹

2/. Историческая последовательность является **структурированной**. Между отдельными дискретными точками этой последовательности устанавливается определенная связь (историческая причинность, исторический параллелизм, историческая преемственность). Набор таких связей и образует историю как структуру: дискретный последовательный во времени ряд событий, определенным образом связанных друг с другом. Миф не дает такой структурированности: и первоначальная космологическая схема, и все ее последующие репродукции сплавляются в единый смысловой комплекс, постоянно инкорпорирующий новые факты. Настоящее вырастает не из определенных моментов в прошлом, как их следствие и смена, но из всего мифологического комплекса, как его очередная реализация; в то же время настоящее не есть смена предыдущего состояния, а репродукция и включение в мифологическую схему.

3/. Наконец, история представляет собой **гомогенную последовательность**. Она разворачивается как последовательность однопорядковых событий, так сказать, по одному каналу. Не случайно существует определение истории как науки о человеческих деяниях, *res gestae*⁴². В тех исторических описаниях, которые исходят из идеи прямого вмешательства сверхъестественной силы в человеческие дела, данное вмешательство все равно оказывается синхронизированным с определенными событиями, т. е.

⁴⁰ Укажем только некоторые основополагающие работы по данной проблеме: [59; 60; 31].

⁴¹ См. об этой особенности [52, стр. 43—58; 67].

⁴² [61, стр. 6].

включенным все в ту же гомогенную последовательность событий. Для мифологического сознания каждый факт осуществляется одновременно как реальное и как мифологическое событие, т. е. существует в нескольких измерениях, информация поступает по нескольким параллельным каналам.

Нетрудно увидеть параллелизм между приведенными здесь противопоставлениями мифа и истории (а также мифологии и науки)⁴³ и проанализированным ранее отношением устной и письменной речи. Становление исторического мышления и вытеснение мифологических представлений — длительный процесс, охватывающий, в рамках различных культур, период примерно I тыс. л. до н. э. — I тыс. л. н. э.⁴⁴ Можно заметить, что этому предшествует период, примерно с такой же протяженностью (приблизительно от рубежа IV—III тыс. л. до н. э.), содержанием которого является возникновение письма и развитие письменной традиции в рамках различных культур⁴⁵. Иначе говоря, переходу от мифологической к исторической эпохе предшествует переход к письменной культуре. Отмеченный нами параллелизм в содержании этих процессов позволяет высказать предположение о том, что они были в известной степени **связаны между собой**.

Действительно, письмо дает прежде всего **фиксацию** некоторых феноменов, а следовательно, во-первых, возможность выстраивать эти феномены в определенной временной последовательности, а во-вторых, возможность постоянно обращаться к зафиксированным ранее феноменам для эксплицитного их сопоставления и соединения с некоторыми другими единицами. В этом смысле можно сказать, что с появлением письма все последующее движение соответствующей культуры превращается как бы в **единый письменный текст**, имеющий в целом те же общие свойства, которыми обладает каждый написанный текст в отдельности и даже каждая написанная фраза, — свойства, рассмотренные нами в §§ 3—4.

Далее, для построения исторического и, шире, научного описания необходимо **отстранение** от предмета, выход за его пределы, взгляд как бы извне. На мифологической стадии сознание не может выработать идею соизмеримости происходящего внутри «своей» культуры и за ее пределами; тем самым не вырабаты-

⁴³ См. о связи исторического и научного мышления [53, стр. 111 сл.].

⁴⁴ Анализ этого процесса см. в [53]. Ср. также сопоставление мифологических и героических песен «Старшей Эдды», как реализации двух систем мышления: [52, стр. 46—51].

⁴⁵ Напомним еще раз, что мы имеем в виду только развитые формы письма, так или иначе коррелирующие с формами языка, т. е. составляющие полную альтернативу устной речи. Древнейшие системы такого письма — шумерская и египетская — сложились к началу III тыс. л. до н. э. К началу I тыс. л. до н. э. были широко распространены уже самые различные системы письма, в том числе развилось уже **звуковое (алфавитное)** письмо.

вается и система параметров, которую равным образом можно было бы наложить на «свое» и «чужое», — какой является историческая схема.

С этой точки зрения устная речь, со спонтанным и имплицитным характером ее усвоения, хорошо соответствует мифологическому типу культуры. С другой стороны, усвоение письменной речи, даже на своем родном языке, не является спонтанным и связано с метаязыковой рефлексией. В этом аспекте письменная речь выступает всегда как культурный феномен, усваиваемый эксплицитным образом, путем обучения. «Свое» и «чужое» в условиях устной речи представляют собой две сферы, в которые индивидуум может поочередно спонтанно погружаться (если он знает два языка), никак не соотнося их между собой и оказываясь при этом как бы в различных языковых измерениях. В условиях письменной речи тексты на разных языках становятся сопоставимыми феноменами. Укажем в этой связи на огромное распространение билингвальных и полилингвальных текстов на раннеписьменном этапе и на роль переводов в развитии самых различных письменных культур. Языковое остранение, получаемое при обучении письму, выход из состояния спонтанного владения родным языком может поэтому рассматриваться как предпосылка развития исторической и натурфилософской рефлексии.

Наконец, возникновение письма является, в отличие от возникновения языка, чисто **человеческим деянием**. Оно связано с определенной временной точкой, определенными событиями; даже если в том или ином конкретном случае нам неизвестны конкретные обстоятельства, заведомо предполагается, что они в принципе существовали, в то время как происхождение языка является скорее филогенетической, чем исторической проблемой; это не факт, который может быть прикреплен, реально или хотя бы в принципе, к определенной стадии в жизни человеческого общества — не *res gestae*. «Мифологический» характер происхождения языка (т. е. устной речи) и «исторический» характер происхождения письма также мог оказаться одним из факторов, связавших наступление письменной и исторической эпохи.

4.2. Другая культурологическая параллель к соотношению устной и письменной речи связана с **типом развития культуры**. Возможности развития оказываются существенно различными в условиях устной vs. письменной традиции.

Устная речь одномоментна, она не приспособлена к хранению порожденных текстов — во всяком случае, не была приспособлена до самого недавнего времени. Тем самым устная традиция не может обеспечивать **накопление** текстов. Количество текстов, бытующих в рамках некоторой культуры, использующей устный способ передачи, более или менее постоянно и ограничено возможностями коллективной памяти. Поэтому создание новых текстов автоматически означает вытеснение из памяти и исчезно-

вание некоторых построенных ранее текстов; экстенсивного развития не происходит. Таким образом, способом поддержания и развития культурной традиции может быть только вновь и вновь совершаемое **репродуцирование** уже имеющихся в культурном фонде текстов.

С другой стороны, устная традиция не только **не может** обеспечить массовое порождение и накопление все новых текстов, но и **не нуждается** в этом. Это связано с такой, рассмотренной нами ранее, особенностью устной речи, как отсутствие абсолютно точного репродуцирования: любое новое явление устного текста, даже представляющее собой повторение чего-то прежде бывшего, несет новую информацию, во-первых, потому, что абсолютно точное воспроизведение, при многообразии параметров передачи в устной речи, практически невозможно, а во-вторых потому, что каждая новая фаза в развертывании устной речи инкорпорируется в предшествующий комплекс в целом, и повторение на новой стадии развертывания этого комплекса приобретает новый смысл.

В этом отношении вся устная традиция в рамках некоторой культуры в целом может быть уподоблена одному устному тексту или одному устному высказыванию. Культура, основанная на такой традиции, строит свое развитие на постоянном повторении и воспроизведении, с большими или меньшими вариациями, все того же ограниченного круга текстов. Она не знает резкого экстенсивного развития. Появление новой информации обеспечивается варьированием традиционных текстов, а главное, их инкорпорированием во все новые и новые стадии культурного процесса.

Письменная речь располагает совершенно иными возможностями. Она обеспечивает сохранение текстов, следовательно, оказывается возможным количественное накопление текстов, экстенсивный рост культурного фонда. С другой стороны, письменная культура связана не только с возможностью, но и с **необходимостью** такого рода развития. Поскольку смысл письменного текста структурирован, каждое его воспроизведение равно самому себе, т. е. означает репродукцию смысла, а не образование нового смысла. Тем самым для получения новой информации оказывается необходимым создавать все новые и новые тексты. Развитие культуры совершается экстенсивно, т. е. путем создания новых текстов и увеличения текстового фонда, а не путем нового репродуцирования все тех же традиционных текстов. Нетрудно увидеть, что данное противопоставление скоррелировано также с оппозицией исторического и мифологического мышления, рассмотренной в § 4.1.

Построение неограниченного числа новых текстов в условиях письменной традиции связано еще с одним важным явлением — созданием **грамматик**, т. е. экплицитно сформулированных пра-

вил порождения текстов. Культура письменной эпохи — это культура кодифицирующего типа, «культура грамматик». Действительно, только при неограниченном и нестабильном наборе текстов грамматика начинает вычленяться и осознаваться как нечто отдельное от текстов. Если же культура строится на воспроизведении стабильных текстов, то грамматика, кодификация не выделяется в качестве самостоятельного феномена: в этом случае порождение обеспечивается знанием исходных текстов; последние и выполняют функцию *langue*, т. е. руководства к дальнейшей деятельности. Соответственно и «обучение культуре», передача традиции в одном случае ведется эксплицитно, в виде передачи правил, культурного кода, в другом — спонтанно, в виде передачи постоянного фонда текстов.

Таким образом, рассмотренная нами оппозиция устной и письменной традиции реализуется в культурологическом плане как оппозиция между «культурой текстов» и «культурой грамматик»⁴⁶. Мы можем теперь в принципе сказать, что «культура грамматик» соответствует, или во всяком случае имеет тенденцию соответствовать, письменной традиции, в то время как «культура текстов» имеет тенденцию реализовать себя как культура устной традиции. Особенности данных двух культурных типов оказываются хорошо скоррелированы с особенностями хранения, порождения и усвоения письменной и устной речи соответственно. Здесь вновь обращает на себя внимание тот факт, что целая культурная традиция может быть уподоблена минимальному тексту (фразе) того способа коммуникации, которому она соответствует.

Заметим, однако, что если противопоставление мифологического и исторического мышления и смена одного другим оказываются хорошо скоррелированы по времени с появлением письменности в рамках самых различных культур, то с проанализированной здесь оппозицией дело обстоит иначе. Культура экстенсивного типа, «культура грамматик» — это прежде всего европейская культура. Можно сказать, что становление культуры экстенсивного типа коррелирует по времени не с возникновением письма как такового, а с появлением **звукового письма**: именно этим качеством европейская традиция выделилась с самого начала из целого ряда параллельно и ранее развивавшихся письменных культур, опиравшихся на иероглифическое либо слоговое письмо⁴⁷.

⁴⁶ См. выделение данных двух культурных типов в работах Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского [33; 34; 35].

⁴⁷ Ряд историков письма называют звуковыми (или буквенными, или алфавитными) системы письма, сложившиеся у семитских народов в течение II тыс. л. до н. э. и предполагавшие обозначение буквами только согласных, без специальных знаков для гласных [12; 19; 36], наряду с другим, также существующим в науке мнением, что это — слоговое письмо — ср. [15; 64].

Одной из причин данного явления оказывается, быть может, относительно большая техническая простота буквенного письма, оперирующего значительно меньшим числом исходных письменных знаков, либо легче расшифровываемого в языковой текст. Это создавало благоприятные условия для широкого распространения письма⁴⁸, а следовательно, создавало базу для массового порождения новых текстов, т. е. для мощного экстенсивного роста культурного фонда. В то же время в условиях гораздо большей сложности иероглифического, а также слогового письма предпосылки для экстенсивного роста письменной традиции сильно ограничивались. Заметим также, в качестве побочной причины, что в звуковом письме, и соответственно в обучении этому письму, в гораздо большей степени выражен **комбинаторный принцип**: получение огромного числа феноменов из ограниченного числа базовых единиц, путем самого разнообразного комбинирования этих последних. А это и есть в сущности способ порождения открытого числа новых текстов; развитое комбинаторное мышление является необходимым условием экстенсивного развития. Таким образом, буквенное письмо как таковое уже как бы служило схемой комбинаторного мышления, и усвоение этого письма должно было играть роль стимула комбинаторной активности⁴⁹.

Мы установили, что некоторые важные параметры исторической и кодифицирующей культурной эпохи хорошо коррелируют со свойствами письменной речи. Тем самым оказалось возможным предположить, что возникновение письма и распространение письменной культуры способствовало образованию нового типа сознания, послужившего фундаментом для перехода от мифологической к исторической культурной эпохе. Точнее, между двумя данными процессами имелась определенная корреляция и взаимообусловленность: появление письменности могло стимулировать

Однако первой в полном смысле звуковой системой, с обозначением всех звуков, стало греческое письмо, возникшее в начале I тыс. л. до н. э. Именно здесь был сделан решительный шаг от слоговой системы, именно здесь впервые возникла ситуация, при которой все сегментные единицы речи оказались эксплицитно представленными в письме, и не оставалось единиц, «подразумеваемых» пишущим и «домысливаемых» читающим. Значение этого шага в становлении особого «письменного» типа мышления несомненно.

⁴⁸ На это свойство звукового письма и его значение для развития письменной традиции указывает ряд историков письма. См., напр.: [12, стр. 55].

⁴⁹ К. А. Долинин высказывает интересную мысль о том, что при звуковом письме, в отличие от иероглифического, невозможна **спонтанная** языковая деятельность — из-за большего времени, затрачиваемого на запись знаков [13, стр. 62]. Тем самым в буквенном письме закрепляется и усиливается противопоставление письменной традиции устной (поскольку для последней спонтанная деятельность является основной), и это также может являться одной из причин формирования именно на основе звукового письма нового кодифицирующего типа культуры, в наибольшей степени противопоставленной устной традиции.

вать развитие культуры в определенном направлении, но с другой стороны, накопление определенных качеств в рамках предшествовавшего этому периода в свою очередь могло вызвать потребности, стимулировавшие возникновение и распространение письменности. Разумеется, данная корреляция была лишь одной из многих причин этого важнейшего перелома в истории человеческой культуры. Очевидно также, что хронологическое соотношение между двумя данными явлениями, при общей тенденции к последовательности, которую мы отметили, может обнаруживать значительные колебания в различных конкретных случаях. Наиболее очевидная причина таких колебаний — возможность заимствований и несовпадения в распространении различных культурных факторов.

Но в целом, типологически, эпоха исторического мышления — это эпоха развитой письменной культуры. Интересно, что раннеисторические описания в рамках различных культур, содержащие ряд переходных черт и в частности ясные следы космологических представлений, по форме часто строятся в виде **диалогов**, т. е. как бы в виде реликтов устной речи⁵⁰.

Появление письменности явилось крупнейшим событием в языковой истории, по своему значению и последствиям сопоставимым с появлением звукового языка. Человеческое общество оказалось как бы в другом мире, с другим типом коллективной памяти, принципиально иными типами образуемых и передаваемых смыслов, принципиально иной возможностью развития, иным типом языкового обучения и языковой рефлексии, наконец, иным осознанием, на почве языка, противопоставления «свое — чужое». Осознание всей значительности данного перелома и позволяет предположить, что он имел самые крупные последствия для последующего культурного развития.

Конечно, эти последствия реализовались не сразу, а постепенно, в течение длительного времени, вместе с развертыванием и распространением письменной традиции. В частности, экстенсивный кодифицирующий тип культуры, как наиболее позднее завоевание письменного ее этапа, в полной мере развертывается лишь в ренессансную эпоху. (В связи с этим последним обстоятельством, коль скоро мы ведем речь о «лингвистических» стимулах культурного развития, можно указать на появление книгопечатания как на важный стимул культурной экстенсификации и кодификации — стимул, действующий, разумеется, не сам по себе, а постольку, поскольку он помог реализовать потенции, заложенные в принципе в зрелой письменной культуре).

5.1. До сих пор мы говорили о смене эпохи устной речи эпохой письменности, с соответствующими культурными последствиями. Между тем, в действительности не происходит ведь ника-

⁵⁰ См. исследование данного явления: [53, стр. 125—127].

кой смены, а лишь **прибавление** письменности, притом что устная речь продолжает существовать. В связи с этим возникает вопрос о роли устной речи и соответствующего ей типа мышления в письменную эпоху, а также о соотношении и взаимодействии «устного» и «письменного» семиозиса в рамках одной культуры.

Письменная речь с момента своего возникновения начинается обслуживать наиболее важные стороны культурного процесса, составляющие как бы его ядро и обладающие в глазах носителей данного процесса наибольшей престижной ценностью. Это прежде всего сакральная и юридическая сферы; в дальнейшем происходит постепенное расширение сферы употребления письменной речи и постепенно складываются пласты деловой, научной, художественной, публицистической письменной речи⁵¹. В обществе с развитой письменной традицией во всех этих сферах письменная речь становится ведущей; устная коммуникация в рамках данных сфер имеет место, однако (при различном, конечно, соотношении в каждом отдельном случае) в целом устная речь отходит здесь на второй план, выступая в качестве вспомогательного специфического средства образования и передачи информации; как бы ни было это средство важно само по себе в том или ином случае, конститутивная роль в области религии, права, науки, публицистики устойчиво принадлежит письменным текстам.

Доминантная роль устной речи сохраняется только в сфере обиходного бытового общения — то есть в сфере периферийной, наиболее массовой, спонтанной и соответственно наименее престижной в культурном механизме. Именно здесь сохраняется и продолжает широко применяться техника образования и передачи открытых смыслов и соответствующий этому строй мышления.

В самом деле, если обратиться к сфере бытового общения, нетрудно заметить в ней черты, репрезентирующие «мифологический» тип мышления. Дискретность событий и их причинно-следственные связи здесь оказываются ослабленными, самосознание и поведение каждого члена социума вырастает из всей суммы предшествующих поступков его самого и его окружения. В связи с этим бытовая сфера оказывается глубоко традиционной, с устойчивой передачей и постоянным репродуцированием все тех же постоянных схем поведения. Да и сама разговорная (т. е. обиходная устная) речь, как известно, в большой степени связана с повторением стандартных речевых блоков, употреблением различных клише⁵². Таким образом, способность к форми-

⁵¹ Расширение и дифференциация сферы литературных письменных текстов прослеживается в работах Л. И. Баранниковой: [2; 3].

⁵² Данная особенность устной речи была впервые на русском материале проанализирована в кн. [54]. Ср. и в последующих работах указания на более жесткий характер норм устной речи: [28].

рованию неструктурированных, недискретных и открытых смыслов сохраняется обществом, но на периферии его культурной деятельности, причем и здесь данный семиотический тип постепенно утрачивает чистоту, смешивается со структурированными формами и теснится ими. В частности, в бытовом поведении образованной части общества (связанной с активным использованием «письменных» сфер культуры) дискретность и структурированность событий достигает весьма большой степени, что становится возможным, во-первых, в связи с распространением таких форм, как семейные хроники, родословные, дневники и т. д., а во-вторых, «рассечением» биографии каждого индивидуума на стандартные временные отрезки, связанные с обучением и официальной деятельностью (различные стадии обучения, поступление на службу, выход в отставку и т. п.). Интересно также развитие, для этой же социальной сферы, экстенсивных поведенческих форм, с резкой и быстрой сменой как поведенческих текстов (мода), так и, отчасти, манеры говорения.

Однако мало того, что неструктурированный семиотический тип постепенно оттесняется все дальше на периферию. Второй чертой подавления и редукции данного типа в условиях письменной культуры следует признать тот факт, что само его существование и присутствие в жизни общества становится имплицитным, перестает осознаваться, «не замечается» носителями данной культуры. Действительно, письменные тексты, с момента их появления, конституируют те области культуры, которые в наибольшей степени связаны с самосознанием и развитием социума. Вот почему с появлением письменности соответствующее ей «логическое» (структурированное) мышление оказывается доминирующим и осознается самими носителями письменной культуры как нормативный, «правильный» тип мышления, единственный и безальтернативный способ построения смысла.

Сама устная речь перестает осознаваться не только как первичный, но и вообще как самостоятельный феномен, имеющий позитивную ценность и позитивные признаки, а рассматривается как результат ситуативной редукции «кодифицированной», «правильной», т. е. письменной речи. Реликты такого подхода наблюдаются даже в современных работах по разговорной речи, содержащих подробное описание ряда ее особенностей.

Соответственно открытый смысл, возникающий в устной речи, не осознается как особый позитивный тип, а лишь как нерегулярное «рассеивание» структурированного смысла. А именно, все черты смысла устного сообщения, которые не могут быть структурированы, априори считаются «эмоциональными», «экстралингвистическими», «окказиональными» и т. п. элементами, и тем самым исключаются из регулярного описания. Подобно тому как форма устной речи рассматривается как коррелят письменной речи, дееструктурированный («синкретизированный», «редуциро-

ванный» и т. п.) под давлением ситуации и снабженный добавочными «экстралингвистическими» параметрами (мелодикой, парфонетикой) — так и смысл устной речи оценивается только в качестве частичной редукции, дезартикуляции и эмотивного варьирования структурированного смысла⁵³.

Говорящие широко используют устные формы общения, причем не только в быту, но и в центральных культурных сферах (публичная устная речь). Они интуитивно владеют специфическим механизмом построения смысла, присущим устной коммуникации, и пользуются позитивными возможностями, открываемыми данным способом, для получения результатов, в чистом виде недостижимых в письменном тексте. То есть, они практически умеют извлекать выгоду из взаимной дополнительной письменной и устной коммуникативной сферы. Но все эти навыки имеют преимущественно бессознательный характер и не находят отражения в культурном самосознании и описании семиотического процесса.

Таким образом, трудности в описании и наблюдении за феноменом устной речи, о которых мы говорили в начале статьи, с семиотической точки зрения объясняются тем, что в условиях господства семиотического типа, основанного на письменной речи, свойства и параметры этого доминирующего типа императивно распространяются на весь механизм культуры и создают крайне неблагоприятные условия даже для простого наблюдения, и тем более для эксплицитного описания подчиненной, подвергающейся редукции и суппрессии культурной формы, какой является устная речь.

Утверждение господствующего положения письменной культуры и утрата осознания устной речи и открытых смыслов как самостоятельного феномена с большой интенсивностью проявилось и прогрессировало в европейской культуре нового времени. К началу XX столетия, однако, возникли некоторые принципиально новые факторы, которые, по мере своего развития, стали оказывать все более существенное интерферирующее воздействие на данный процесс.

Во-первых, появляются технические средства передачи на расстояние, записи и воспроизведения устной речи; в течение последнего столетия они стремительно совершенствуются, и круг их применения непрерывно расширяется. Тем самым, с одной стороны, резко расширяются ситуационные возможности использования устной коммуникации: она может быть передана на любое расстояние, осуществляться без непосредственного кон-

⁵³ В общем виде именно такой подход, как мы уже упоминали, представлен в современных работах по семантике. Его влияние сказывается и в работах по разговорной речи, там где исследователи переходят от описания конкретных черт ее формы к анализу ее общих принципиальных свойств. Ср. [46, стр. 31—34].

такта говорящего и слушающего и т. д., то есть ее функциональные возможности теперь практически ничем не отличаются от возможностей письменной речи. С другой стороны, появляется возможность **накопления устных текстов**: количество устных текстов, которыми располагает данная культура, не ограничивается больше возможностями ее коллективной памяти, а может быть сколь угодно большим и непрерывно расти с развитием культуры.

Иными словами, устная речь больше не знает тех ограничений, которые суживали ее возможности в условиях сложившейся на базе письменности культуры исторического и экстенсивного типа и определили ее «поражение» и последовательное вытеснение доминирующей в культуре письменной речью. Она приобрела (или во всяком случае приобретает на глазах) качества полноценной альтернативы письменной речи. Уравнивание функциональных возможностей создает благоприятную основу для сопоставления двух форм коммуникации, которыми располагает культура, и выявления позитивных свойств и позитивного значения каждой из этих форм. Кроме того, существенно, конечно, и то, что появившиеся технические средства резко расширили возможности наблюдения над устной речью, собрания, отбора и экспериментов над устным материалом в научном описании.

Во-вторых, как это ни парадоксально, но именно распространение образования (т. е. прежде всего — распространение навыков письменной речи) на той стадии продвинутости этого процесса, которая достигнута к настоящему времени, начинает способствовать поднятию статуса устной речи. Действительно, вместе с широким распространением образования соответственно широкое распространение получает кодифицированная публичная устная речь.⁵⁴ Если прежде последняя составляла лишь узкий слой, окруженный морем «просторечия», то теперь этот слой резко расширился, число людей, в той или иной мере владеющих навыками небытовой устной речи, резко возрастает. Это укрепляет положение устной речи в «престижных» сферах культуры; в самосознании социума устная речь перестает связываться преимущественно с бытовым и просторечным слоем. Все это тоже определяет конец эпохи «поражения» и подавления устной речи в культурной системе.

Наконец, характер современного искусства, и в частности художественной литературы, как кажется, повлиял на укрепление позиций устной речи (и представляемого ею способа мышления) в культурном самосознании. Данное явление, однако, имеет смысл рассмотреть более подробно.

⁵⁴ Л. И. Баранникова прямо связывает развитие литературной разговорной речи с общим процессом развития и дифференциации стилей литературного языка. См. [2].

5.2. Художественная речь играет особую роль в культурном механизме, основанном на противопоставлении устной и письменной коммуникации. Будучи построена как написанный текст и обладая тем самым всеми свойствами письменной речи, она вторично заваевывает ряд особенностей и свойств, которые изначально присущи только устной форме языковой деятельности. Это достигается благодаря ряду приемов, которые устойчиво сопровождают художественную речь на всем протяжении ее развития, при всем многообразии ее конкретного исторического, языкового, жанрового воплощения. Рассмотрим основные из этих общих приемов.

1/. Прежде всего, художественный текст, по сравнению с нехудожественной письменной речью, обладает **гиперструктурностью**: число связей между элементами такого текста и степень их сложности (многоаспектности, разнонаправленности) резко повышается по сравнению с общеязыковым стандартом письменного текста. Поэтому даже при тех возможностях повторного прохождения, соотнесений, ретроспекций и т. д., которые предоставляются письменным текстом, адресат художественного «сообщения» не может исчерпывающим образом реконструировать (а его адресант — автор — не может исчерпывающе прогнозировать) все возникающие в таком тексте и конституирующие его смысл структурные связи. В силу этого, во-первых, вступает в действие механизм произвольных связей: все, в принципе, может оказаться связанным со всем, связи заведомо не ограничиваются общеязыковыми грамматическими правилами, так как художественный текст имеет свою «грамматику». Во-вторых, возникает презумпция открытости связей, заведомой неисчерпанности и неисчерпываемости этих связей, а следовательно, и смысла. Автор как бы запускает в действие (а читатель принимает) машину, генерирующую открытый смысл: основной структурный костяк, наверняка сознательно сконструированный автором и воспринятый читателем, плюс перспектива все более сложных и факультативных соотнесений, плюс осознание принципиальной открытости данного ряда — все это в совокупности и формирует смысл художественного текста. Таким образом, если открытость устного текста возникает из-за невозможности провести на нем структурирующую работу в том объеме, в котором это оказывается возможным и необходимым для письменного текста, — то в художественной речи аналогичное качество возникает за счет вторичной интенсификации и усложнения структурного механизма, доведения его до такого уровня, который превышает структурирующие возможности письменной речи.

Нетрудно увидеть, что словесное искусство вырабатывает целый ряд приемов, при помощи которых его гиперструктурность оказывается особенно подчеркнутой и очевидной. Наиболее распространенным и функционально прозрачным из таких приемов

является сложная техника повторов, своего рода «мотивная работа» (пользуясь музыкальным термином), осуществляемая в художественном тексте; нелинейность развертывания сюжета, смены и чередования временных, а также пространственных планов; различные приемы умолчания, пропуски и подразумевания вещей, известных лишь узкому читательскому кругу (и заведомо неизвестных за пределами этого круга), либо вообще мнимых фактов, мнимое знание которых заведомо ложно приписывается читателю, и т. д. Постоянство, с каким словесное искусство культивирует в самые различные эпохи те или иные из этих приемов, соответствует той важности, которую имеет создаваемая с их помощью гиперструктурность, со всеми последствиями, которые она имеет для характера смысла художественного текста.

2/. Другим важным свойством художественной речи является ее **гетерогенный** характер, т. е. легко достигаемая многоканальность передачи. Самый очевидный и распространенный случай многоканальности являет собой поэтическая речь, где наряду с вербальной последовательностью постоянно и обязательно присутствует еще один канал — поэтического ритма (имеющий, конечно, целый ряд составляющих его параметров), причем данный канал полностью работает в рамках письменного текста как такового, независимо от устного воспроизведения стиха.

Но и за пределами поэзии художественная речь располагает большим выбором средств для создания гетерогенности. В частности, таким средством следует признать введение диалогов, вообще речи персонажей. Наличие речи персонажей несколько не отменяет того заведомого свойства художественного текста, что его источником является один адресант, и притом не персонаж, а автор. Таким образом, введение разных «голосов» не дает реального распада текста на ряд отдельных текстов с различными источниками, но создает эффект гетерогенности **одного** текста. Аналогичный эффект имеют также всевозможные приемы создания «маски» рассказчика (и смены масок в ходе повествования), форма сказа и т. п. (Заметим, что чужая речь, даваемая в нехудожественном тексте в виде цитаты — «прямой речи», — не создает эффекта гетерогенности: она в явном виде экспонирована как воспроизводимая адресантом, т. е. принадлежащая его «голосу», в то время как введение диалога или «маски» рассказчика в художественном тексте создает эффект другого голоса, при сохранении презумпции единства текста).

Наконец, широко применяемым приемом создания многоканальной коммуникации является образование синтетических художественных форм: соединение вербального художественного текста с музыкой, драматическим действием, изображением. Данное явление оказывается устойчиво присущим художественной речи в любую эпоху, и в то же время совсем не встречается,

либо имеет место в минимальной степени, за пределами художественных текстов.

3/. Заметим также, что художественные тексты в значительно большей степени, чем какие бы то ни было иные письменные тексты, связаны с **устным воплощением**. Конечно, любой письменный текст в принципе может быть прочтен вслух и воспринять некоторые дополнительные свойства, связанные с подключением мелодического и визуального каналов устной речи; и, с другой стороны, ни для какого написанного текста (в том числе и для художественного) устное произнесение не является абсолютно обязательным, то есть всякий письменный текст **автосемантичен** (в отличие, кстати, от письменной фиксации устного текста). Но все же нельзя не признать, что художественный письменный текст в целом подвергается устной «перекодировке» чаще, и изначально ориентирован на нее больше, чем нехудожественный; прежде всего это относится к драматическим формам и поэзии. Более частая конфронтация с устными средствами передачи, а следовательно, и с той коррекцией, которую они вносят в передаваемый смысл, с одной стороны, подчеркивает сходство художественной речи с устной коммуникацией, а с другой стороны, способствует дальнейшему развитию этого сходства.

Итак, в культуре «письменной» эпохи художественная литература выполняет как бы функции посредника между двумя конкурирующими (исторически, а затем функционально) семиотическими механизмами, связанными с устным и письменным способом реализации. Она сохраняет все те качества письменной речи, которые определили ее господствующее положение в культуре нового времени: способность к накоплению текстов (экстенсивному развитию), способность к хранению и воспроизведению, наконец, эзотеричность, связанность с обучением, и в связи с этим культурную престижность. Все это обеспечивает художественной литературе устойчивое положение в центральной области культуры «письменного» типа. Но в то же время она сохраняет и переносит в ядро этой культуры такие черты, как открытость смысла, неадекватность смыслового эффекта при воспроизведении, «мифологическое» прорастание смысла нового текста (или новой части развертываемого текста) из всего уже достигнутого ранее корпуса смыслов, и т. д. Отметим попутно также **традиционные** черты словесного искусства: склонность к варьированному воспроизведению одного и того же текстового инварианта (повторяющиеся сюжеты), — сохраняющиеся в полной мере и в условиях наибольшего развития культуры экстенсивного типа, и даже наиболее отчетливо выступающие в этом последнем случае в парадоксальном сочетании со стремительной динамикой развития и пополнения текстового фонда.

Таким образом, описание противопоставления между двумя семиотическими типами помогает понять одну из функций лите-

ратуры, и шире, всякого искусства (поскольку всякое искусство реализуется в виде фиксированного текста и в то же время обладает чертами гиперструктурности и открытости смысла) в семиотическом механизме культуры. В то время как устная речь оказалась оттеснена либо на периферию культуры, либо, в центральной области, на роль второстепенного и вспомогательного средства — художественная речь инкорпорирует открытый семиотический механизм в центральную область культуры, утверждая его там в качестве полноправной и неотъемлемой части культуры «письменного» типа.

Значение данной функции, по-видимому, должно возрастать в современную эпоху, когда происходит новая конфронтация двух семиотических механизмов и складывается новое их соотношение. Действительно, об этом как будто свидетельствует резкая активизация в литературе XX века таких явлений, как нелинейность развертывания содержания, сложные эксперименты с организацией пространственно-временной структуры, повторяемость мотивов, гетерогенность текста⁵⁵. Все это вновь заставляет вернуться к мысли о том, что в культуре XX века наметился важный процесс: после многовекового доминирования письменной традиции устная речь получает возможность стать полноправной альтернативой письменности, так что расслоение двух семиотических механизмов (историческое, функциональное, престижное и т. д.) сменяется их сопоставлением и взаимодействием, как двух равноправных, но качественно различных и взаимодополняющих источников семиотического процесса. Конечно, до полного утверждения такого положения еще далеко, но тенденция движения к нему налицо, и быть может, мы находимся в настоящее время в начале культурного перелома, по своему значению соответствующего переходу от устной к письменной эпохе.

Косвенными свидетельствами такого сдвига могут служить и некоторые характерные явления культурной жизни XX столетия: и уже отмеченные нами процессы в современном искусстве, и беспрецедентный интерес науки к звучащей речи — от *Ohrnphilologie* начала века, от достижений фонетики и фонологии (и того широкого общенаучного резонанса, который имели эти достижения) — до современного широкого изучения устной речи, в рамках которого находится и настоящее исследование.

⁵⁵ Подробное описание «мифологических» черт современного художественного повествования см. в кн. [38, ч. III].

ЛИТЕРАТУРА

1. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.
2. Баранникова Л. И. О социально-исторической обусловленности развития русской разговорной речи. — В кн.: Русская разговорная речь, Саратов, 1970.
3. Баранникова Л. И. К вопросу о развитии функционально-стилевого многообразия языка. — «Вопросы стилистики». Саратов, вып. 6, 1973; вып. 7, 1974.
4. Брызгунова Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963.
5. Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. — «Вопросы языкознания», 1955, № 1.
6. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929.
7. Волощина З. М., Николаева Т. М., Сегал Д. М., Цивьян Т. В. Жестовая коммуникация и ее место среди других систем человеческого общения. — В кн.: Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. М., 1962.
- 7а. Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971.
8. Гаспаров Б. М. Проблемы структурного описания музыкального языка. Тарту [в печати].
9. Гинзбург Р. С., Шматова В. И. Роль деиктических и кинетических компонентов в разговорной речи. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 7, ч. I. Горький, 1976.
10. Гольдин В. Е. О стилистическом факторе в распределении орфографических вариантов (на материале написаний с выносными буквами в Синодике XVI века). — «Вопросы стилистики», вып. 8. Саратов, 1974.
11. Горелов И. Н. О «следах» смыслового синтаксиса в разговорной реплике. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 7, ч. I. Горький, 1976.
12. Дирингер Д. Алфавит. М., 1963.
13. Долинин К. А. Спонтанная речь как объект лингвистического исследования. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 4. Горький, 1973.
14. Долинин К. А. Ролевая структура коммуникации и разговорная речь. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 7, ч. I. Горький, 1976.
15. Дьяконов И. М. Введение в кн.: Д. Дирингер. Алфавит. М., 1963.
16. Зиндер Л. Р. Общая фонетика. Л., 1960.
17. Инфантова Г. Г. Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи. Ростов-на-Дону, 1973.
18. Инфантова Г. Г. Совмещение сегментных средств в синтаксисе русской разговорной речи. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 6. Горький, 1975.
19. Истрин В. А. Происхождение письма. М., 1965.
20. Капанадзе Л. А., Красильникова Е. В. Роль жеста в разговорной речи. — В кн.: Русская разговорная речь. Саратов, 1970.
21. Каспранский Р. Р. Фузионная природа речевой информации. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 4. Горький, 1973.
22. Кожевникова К. Спонтанная устная речь в эпической прозе. Praha, 1970.
23. Козельцева Н. А., Гусева О. В. Незнаменательная лексика разговорной речи. — В кн.: Русская разговорная речь. Саратов, 1970.
24. Коновалова Р. Т. Об одном приеме экспрессивного синтаксиса. — «Вопросы стилистики», вып. 7. Саратов, 1974.
- ✓ 25. Костомаров В. Г., О разграничении терминов «устный» и «разго-

- ворный», «письменный» и «книжный». — В кн.: Проблемы современной филологии, М., 1965.
26. Красильникова Е. В. К функциональной характеристике именительного падежа существительных в системе русской разговорной речи. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 7, ч. I. Горький, 1976.
27. Лаптева О. А. Общие устно-речевые синтаксические явления литературного языка и диалектов. — В кн.: Русская разговорная речь. Саратов, 1970.
28. Лаптева О. А. Нормативность некодифицированной литературной речи. — В кн.: Синтаксис и норма. М., 1974.
29. Лаптева О. А. Устно-литературная разновидность современного русского литературного языка и другие его компоненты, I—III. — «Вопросы стилистики», вып. 7—9. Саратов, 1974—1975.
30. Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
31. Леви-Брюль К. Первобытное мышление. М., 1930.
32. Лотман Ю. М. Проблема «обучения культуре» как типологическая характеристика. В кн.: Ю. М. Лотман. Статьи по типологии культуры, I. Тарту, 1970.
33. Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в системе культуры. — «Труды по знаковым системам», вып. 6. Тарту, 1973.
34. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры. — «Труды по знаковым системам», вып. 5, Тарту, 1971.
35. Лоукотка Ч. Развитие письма. М., 1950.
36. Марр Н. Я. Язык и письмо. — «Известия ГАИМК», т. VII, вып. 6. Л., 1931.
37. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
38. Мещанов И. И. К вопросу о стабильности в письме и языке. — «Известия ГАИМК», т. VII, вып. 5—6. Л., 1931.
39. Николаева Т. М. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.
40. Николаева Т. М., Успенский Б. А. Языкознание и паралингвистика. — В кн.: Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966.
41. Полищук Г. Г. Обязательные и факультативные определения в разговорной речи. — «Вопросы стилистики», вып. 8. Саратов, 1974.
42. Прокуровская Н. А. Некоторые особенности употребления частицы вот в устной разговорной речи. — «Вопросы стилистики», вып. 8. Саратов, 1974.
43. Реформатский А. А. Неканоническая фонетика. — В кн.: Развитие фонетики современного русского языка. М., 1966.
44. Реформатский А. А. Фонологические этюды. М., 1975.
45. Русская разговорная речь, под ред. Е. А. Земской. М., 1973.
46. Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка, под ред. М. В. Панова. М., 1968.
47. Самойлова И. В. Эмфаза и коммуникативная актуализация в речи — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 6. Горький, 1975.
- 48а. Сиротинина О. Б. Глубина фразы и ее роль в общении. — «Язык и общество», вып. 2. Саратов, 1970.
49. Сиротинина О. Б. Непосредственность общения — определяющий фактор разговорной речи. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 4. Горький, 1973.
50. Сиротинина О. Б. Современная русская разговорная речь и ее особенности. М., 1974.
51. Скребнев Ю. М. Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи. АДД. М., 1971.
52. Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976.

53. Топоров В. Н. О космологических источниках раннеисторических описаний. — «Труды по знаковым системам», вып. 6. Тарту, 1973.
54. Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
55. Ширяев Е. Н. Связи свободного соединения между предикативными конструкциями в разговорной речи. — В кн.: Русская разговорная речь. Саратов, 1970.
56. Ширяев Е. Н. Союзные и бессоюзные полипредикативные высказывания о разговорном языке. — «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», вып. 6. Горький, 1975.
57. Шустикова Т. В. К вопросу об интонации русской разговорной речи. — В кн.: Русская разговорная речь. Саратов, 1970.
58. Buning, J. E., Schooneveld, C. H. The Sentence Intonation of Contemporary Standard Russian as a Linguistic Structure. s'Gravenhage, 1960.
59. Cassirer, E. Philosophie der symbolischen Formen. 2. Das mythische Denken. Berlin, 1923.
60. Cassirer, E. Language and Myth. New York, 1946.
61. Collingwood, R. G. The Idea of History, 2nd ed., New York — Oxford, 1956.
62. Eshkol, N., Wachman, A. Movement Notation. London, 1958.
63. Fillmore, Ch. The Case for Case. — In: «Universals in Linguistic Theory», New York, 1968.
64. Gelb, I. J. A Study of Writing. London, 1952.
65. Jackendoff, R. S. Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge, Mass., 1972.
66. Katz, J. J. Semantic Theory. New York, 1972.
67. Kirk, G. S. Myth, its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures. Cambridge, 1970.
68. Renský, M. The Systematics of Paralanguage. — «Travaux linguistiques de Prague. 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue», Prague, 1966.
69. Rudner, D. W. Towards to Formal Kinesics, Portland. Oregon, 1974.
70. Scherer, K. R. Judging Personality from Voice: a Cross-Cultural Approach to an Old Issue in Interpersonal Perception. — «Journal of Personality», vol. 40, No 2, 1972.
71. Scherer, K. R., London, H., Wolf, J. J. The Voice of Confidence: Paralinguistic Cues and Audience Evaluation. — «Journal of Research of Personality», 7, 1973.
72. Schutz, N. W. Kinesiology: The Articulation of Movement, Peter de Ridder Press. Lisse, 1976.
73. Weinreich, U. Explorations in Semantic Theory. — «Current Trends in Linguistics», v. 3. The Hague, 1966.

УСТНАЯ РЕЧЬ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Ю. М. Лотман

1.0. Историк и теоретик культуры в своих исследованиях привык опираться на тексты, то есть на такой определенный тип высказываний, которым присуща зафиксированность и некоторое общее текстовое значение.¹ Нам уже приходилось указывать, что тексты, однако, составляют не *summa culturae*, а лишь ее часть.² Более того, лишь существование не-текстов позволяет выделить на их фоне сумму текстов как некоторый определяющий данную культуру комплекс. Таким образом, одно и то же в лингвистическом отношении высказывание может «быть текстом» или не быть им в зависимости от общего культурного контекста и своей функции в нем.

1.1. Из сказанного вытекает, что деление на «письменную» и «устную» речь вторично от общекультурной потребности делить высказывания на тексты и не-тексты. Функциональная разница в этих двух разновидностях высказываний столь велика, а необходимость различать их для самих носителей культуры столь существенна, что возникает тенденция пользоваться для их выражения различными языками.

1.1.1. В качестве «различных языков» могут выступать два разных естественных языка (показательно, что один из них воспринимается при этом как более авторитетный — более культурный, более древний, святой, богатый и проч.; аксиологическое равенство языков для самих носителей культуры в этом случае исключается). Однако возможно функциональное расщепление одного языка с тенденцией последующего возникновения самостоятельных диалектов или даже языков. То, что в основе этой

¹ См. Структурно-типологические исследования. М., 1962, стр. 144—154; Ю. Лотман. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970, стр. 66—77.

² Ю. Лотман. Беседа А. А. Иванова и Н. Г. Чернышевского. К вопросу о специфике работы над историко-литературными источниками. — «Вопросы литературы», 1966, № 1.

дифференциации лежит тенденция к использованию различных языков, делается очевидным на примере случаев, когда для одного из этих типов коммуникации закрепляется словесный, а для другого — жестовый язык. Возможность табуирования в одном случае тех средств общения, которые разрешены в другом, заставляет предположить, что возникновение письменности связано не только с необходимостью фиксации сообщения в коллективной памяти («записываю сказанное, чтобы оно сохранилось»), но и с запретом на передачу данного сообщения обычными средствами («зарисовываю \rightarrow записываю, ибо говорить об этом запрещено»).

1.2. Одним из существенных различий между двумя типами сообщений является то, что адресат не-текстов всегда присутствует налицо и обладает той же степенью реальности и конкретности, что и отправитель сообщения. Как правило, они расположены в некотором общем времени и пространстве, если не придавать этим понятиям слишком строгого значения. Между адресатом и адресантом текста должны существовать некоторые качественные различия.

1.2. Признаком превращения не-текста в текст (кроме изменения способа фиксации, повышения меры фиксированности и др. черт, о которых говорилось в предшествующей литературе), в частности, является изменение природы адресата: когда конкретное решение суда, связанное с каким-либо казусом, заносится в судебные анналы как прецедент, оно становится законом, т. е. приобретает характер обращения не к конкретным лицам — участникам данного процесса, а к некоему потенциальному читателю. Свидетельством того, что данное письмо из документа частной переписки сделалось публицистическим текстом, а некоторое стихотворение из раздела семейной альбомной поэзии перешло в литературу, часто является разница между обозначением адресата в тексте (обращение к Е. Д. Пановой в «Философических письмах» Чаадаева, заглавия лирического стихотворения с прямым указанием адресата) и реальной адресацией. Когда поэт печатает в журнале любовное стихотворение, адресат, указанный в тексте, заменяется другим — абстрактным и всеобщим (типа: «каждый читатель»).

1.3. Другой особенностью текстов по отношению к не-текстам является их повышенная авторитетность. Тексты рассматриваются самими носителями культуры как безусловно истинные сообщения, между тем как не-тексты могут быть в равной мере как истинными, так и ложными.

1.3.1. Понятие авторитетности связано и с особой природой адресата текстов. Если при не-текстовом общении и отправитель информации, и ее получатель тяготеют к личному знакомству, что придает их обмену сообщениями интимный характер и, как

мы увидим, решительно влияет на всю природу коммуникативного акта, то в случае обмена текстами оба контрагента приобретают абстрактный характер. Однако между ними наблюдается существенная разница в мере авторитетности: получатель обладает ею в наименьшей степени и может быть охарактеризован как «всякий», отправитель же наделен авторитетом в самой высокой мере. В предельном случае это соединение абстрактности с единственностью, позволяющей употреблять применительно к нему собственное имя, и высшей авторитетностью заставляет видеть в нем Особое Лицо. Итак, если предельной моделью нетекстового общения будет коммуникация между двумя лично и интимно знакомыми коммуникантами, которые друг для друга обозначаются собственными именами и обладают развитой общей памятью, то завершенная форма текстового общения — обращение Бога (абстрактная единственность) ко всякому (абстрактная множественность), обращение предельно авторитетного к предельно неавторитетному.

1.3.2. Следствием сказанного является тяготение нетекстового общения к мгновенности — оно не фиксируется в коллективной памяти и, напротив того, текстового — к внесению в общую память данной культуры.

2.0. Будучи различными языками или, по крайней мере, тяготея к предельной лингвистической дифференциации, системы выражения текстов и нетекстов в рамках той или иной культуры осознают себя как **единый язык**. Это выражается в стремлении описывать их средствами единой грамматики, создавая для них некую единую метаязыковую структуру.

2.1. На основе осознания этих систем как единых возникает постоянное взаимовлияние их друг на друга. На разных этапах культуры (или в разных культурах) та или иная структура воспринимается как идеальный образ языка вообще и, следовательно, норма для другой структуры, которая осознается как «неправильная». Однако поскольку для осуществления всего комплекса культурных функций нужны именно две системы, искоренить эту «неправильность» не удастся. Возникает представление о том, что в рамках языка существуют «правильная» и «неправильная» системы. Причем «неправильная» допускается в определенных сферах употребления, хотя прилагается непрерывные (и всегда бесполезные) усилия к ее искоренению. «Правильная» же система считается всеобщей, хотя на самом деле употребляется также в определенной сфере коммуникаций. Более того, хотя сами носители языка считают «правильную» систему универсальной и равной языку, на практике она, как правило, значительно уже области применения «неправильной» системы.³

³ См., Б. А. Успенский. К вопросу о семантическом взаимоотношении системно противопоставленных церковнославянских и русских форм в истории

2.2. Обязательность существования «правильной» и «неправильной» языковых систем убеждает нас, что на уровне реального функционирования каждый развитый язык⁴ представляет собой два языка. Единство возникает на метауровне как плод языкового самоописания.

3.0. Тексты — то, что вносится в коллективную память культуры, то, что подлежит сохранению. Это приводит к тому, что язык текстов всегда зависит от природы запоминающего устройства. В дописьменном обществе он требовал дополнительных ограничений мнемонического типа, очевидно, сближаясь со структурой поэзии, пословиц, афоризмов. Возникновение письменности привело к тому, что язык текстов отождествился с письменной речью, а не-текстов — с устной.

3.1. Письменная и устная речь устроены принципиально различным образом:

3.1.1. Устная речь — речь, обращенная к собеседнику, который не только присутствует налицо, но и лично знаком. Это обуславливает наличие у обоих участников коммуникации некоторой общей памяти, более богатой и детализованной, чем та абстрактная общая память, которая присуща всему коллективу. Письменная же речь ориентирована на эту вторую. Поэтому в письменное сообщение включается то, что неизвестно *любому* говорящему на данном языке, а в устное — то, что неизвестно *данному*. Поэтому письменная речь значительно более детализована. Устная речь опускает то, что собеседнику известно. А что собеседнику известно, говорящий устанавливает на основании обращения к внетекстовому миру — к личности адресата. На основании такого анализа он заключает о степени близости своего опыта к опыту собеседника и, следовательно, об объеме их общей памяти. Поскольку число ступеней в иерархии расширения общей памяти неограниченно, устная речь дает исключительно разнообразную гамму опущений и эллипсов. Между тем, письменная речь стабильна, поскольку ориентирована на абстрактный и относительно стабильный для данного языка и данной культурной эпохи объем памяти. Таким образом, письменная и устная речь различаются не только по содержанию сообщений, но и по различному использованию одинаковых языковых средств. Предельным случаем устной речи, в этом отноше-

русского языка. Wiener slavistisches Jahrbuch, 22 Bnd., 1976, Wien, Ss. 92—100; его же, Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975, стр. 53—56 и др. Пользуюсь случаем выразить искреннюю благодарность Б. А. Успенскому за ценные указания.

⁴ Можно было бы сказать «обслуживающий развитую культуру», однако любая из известных нам культур, в этом отношении, выступает как «развитая». Культуры, обслуживаемые лишь одним языком, практически никому не встречались и теоретически, видимо, невозможны. Они существуют лишь в некоторых упрощенных и неработающих моделях культуры.

нии, будет внутренняя речь — обращение к самому себе создает полное тождество памяти адресата и адресанта и максимальную эллиптированность текста. Предельным случаем письменной речи является официальный документ.

3.1.2. Однако разница между письменной и устной речью — не только в различном использовании одинаковых языковых средств, но и в тяготении к различным в принципе коммуникативным средствам. Устная речь органически включается в синкретизм поведения как такового: мимика, жест, внешность, даже одежда, тип лица — все, что дешифруется с помощью различных видов зрительной и кинетической семиотики, составляет ее части. Письменная речь дискретна и линейна, устная тяготеет к недискретности и континуумной структуре. Она удаляется от логических конструкций, приближаясь к иконическим и мифологическим.

При этом разные типы знаков: словесные, изобразительно-жестовые и мимические, изобразительно-звуковые и проч. — входят в устную речь и как элементы разных языков, и в качестве составляющих единого языка. В этом отношении организация устной речи ближе всего к знаковой системе кинофильма. Письменная речь — результат перевода этой многоплановой системы в структуру чисто словесного текста. Ее можно трактовать как словесное описание и словесных, и несловесных элементов устной речи. Таким образом, по отношению к устной речи в культурах, ориентированных на слово, письменная речь выполняет метаязыковую функцию. Можно, при этом, высказать предположение, что односторонняя ориентация на слово предшествовала односторонней ориентации на письмо и типологически представляла собой культурный поворот, подобный последнему. Создание чисто словесных устных текстов типологически было подобно созданию чисто словесных письменных текстов. И те и другие имели искусственный характер, обслуживали узкую сферу официального общения, отличались высокой престижностью и выделенностью из мира внетекстовых коммуникаций. Еще более ранней реформой такого же типа было выделение текстов с ритуализованным жестом и противопоставление их более вариативной внетекстовой жестикуляции.

Таким образом, можно заключить, что письменная форма речи — результат ряда искусственных и целенаправленных усилий для создания особо упорядоченного языка, призванного играть в общей системе культуры метаязыковую роль. Именно для такой роли он и удобен. Как средство непосредственной коммуникации между двумя непосредственно данными коммуникантами он громоздок, неудобен и исключительно неэкономичен.

3.2. Выполняя метаязыковую роль, та или иная коммуникативная система начинает занимать в сознании коллектива особое место: ей приписываются черты универсальной модели, и осталь-

ные сферы культуры начинают преобразовываться по ее образу и подобию. Те же их аспекты, которые с трудом поддаются такой трансформации или не поддаются ей совсем, объявляются незначимыми или вовсе несуществующими. Именно такую трансформацию в культурном сознании письменной эпохи переживает устная речь: ее начинают воспринимать как испорченный вариант письменной и осмыслять сквозь призму этой последней.

4.0. Устная и письменная речь находятся в постоянном взаимодействии, которое в разные культурные эпохи проявляется как стремление уподобить законы устной речи — письменной или, наоборот, законы письменной речи — устной. Причем в каждом из этих случаев мы сталкиваемся с переводом с одного языка на другой: в одних перед нами попытки внесения в письменный текст жеста и позы, конкретизации личности пишущего⁵, в других — переключение полисистемы в моносистему.

4.1. Для того, чтобы убедиться в том, что представление об устной речи как простом редуцированном варианте письменной неоправданно, целесообразно рассмотреть один частный вопрос.

Согласно распространенному представлению, сложноподчиненные синтаксические конструкции являются типично письменными формами. Им противостоят, якобы, разговорные сочинительные конструкции. История письменного синтаксиса обычно рисуется в следующих наиболее общих контурах: сначала письменность фиксирует разговорные структуры — это период засилия сочинительных конструкций. Затем вырабатываются более сложные собственно письменные структуры. Для того, чтобы проверить, в какой мере это представление справедливо, рассмотрим, что представляли собой наиболее архаические, условно говоря, «исконные», письменные тексты.

В текстах русского средневековья, в силу их общей архаичности, легко обнаруживается одна из закономерностей мифологического мышления. Все явления мира делятся на некоторые коренные, «столбовые» события, которые, совершившись единожды, уже не могут исчезнуть, поскольку входят в конструкцию мира. Эти «первые дела» и их совершители играют особую роль в мироустройстве и пребывают в нем вечно, не исчезая, а то уходя в глубины мира, то обновляясь в аналогичных поступках людей последующих поколений. Поступки же потомков скоропреходящи⁶. Они имеют бытие лишь в такой мере, в какой

⁵ Ср. высказывание Ривароля: «В стиле Руссо были жесты и восклицания. Он не писал — он всегда был на трибуне», *Oeuvres complètes de Rivarol, t. V, Paris, 1808, p. 332*. Это высказывание любил Вяземский, см.: Ю. Лотман. Пушкин и Ривароль. — «Уч. записки Тартуского гос. университета», вып. 98 (Труды по русской и славянской филологии, III). Тарту, 1960, стр. 313.

⁶ См.: Ю. Лотман. «Звонячи в прадѣдную славу». — «Уч. записки Тартуского гос. университета». — Труды по русской и славянской филологии, XXVIII. Тарту, 1976.

повторяют «первые деяния». Такое представление не только находило глубокую аналогию в антиномии письменной и устной речи, но и прямо подразумевало наличие такого противопоставления в культурном сознании. Совершенное «первое» деяние как бы вписывается в некоторую Мировую Книгу (образ Мировой Книги получает на этой стадии мифотворчества исключительное значение). Как для письменного текста, для «первых событий» не значимо понятие прошедшего — настоящего — будущего времени. Основным организующим принципом является признак бытийности: тексты делятся на сущие, уже зафиксированные, и не-сущие, еще не внесенные в Книгу. Однако при чтении, переходя из записанного текста в произносимый, сообщение получает признак времени: тексты уже прочтенные, читаемые в настоящее время и те, которые будут читаться. Аналогичным образом «первые деяния» могут существовать или еще не существовать, но, повторяемые в последующих поступках людей (Святополк «обновил» каинов грех, убив брата, любимые герои автора «Слова о полку Игореве» побеждают врагов «звонячи в прадедню славу», т. е. обновляя славу прадедов: «деды» и «прадеды» в «Слове» — категория мифологическая, относящаяся к «первым временам»), они переключаются во временной план. Таким образом, складываются два пласта мирового порядка: мифологический, подобный письменному тексту (представление о том, что он предшествует историческому, — результат позднейшего переосмысления с позиций диахронного мышления; с внутренней же точки зрения мифологического сознания, этот первый пласт расположен не в предшествующем времени, а вне времени, которое началось уже после его установления, и является не предыдущим, а первичным — отношение это может быть уподоблено отношению языка к речи в сосюрровской системе) и исторический, как бы являющийся его устным прочтением.

4.1.1. Отражением такой двуслойности архаического мира является и возникновение двух типов сообщений: одни касаются основ миропорядка и фиксируются в текстах, другие — всего многообразия скоропреходящих событий и поступков и остаются в сфере устного общения.

Рассмотрение архаических текстов убеждает в их тяготении к формам постулирующих, констатирующих высказываний. Господствуют простые предложения, которые присоединяются друг к другу по куммулятивному принципу как равноправные, с помощью сочинительных союзов. В качестве примеров приведем тексты: «Въ началѣ сотвори Бог небо и землю. Земля же бѣ невидима и неустроена; и тма верху бездны; и Духъ Божий пошашеся верху воды. И рече Богъ: «Да будетъ свѣтъ: и бысть свѣтъ. И видѣ Богъ свѣтъ, яко добро; и разлучи Богъ между свѣтомъ и между тмоу» (Библия, кн. I Бытия, гл. I, ст. 1—5).

Единорог — зверь — всем зверям отец.
Почему единорог всем зверям отец?
Потому единорог всем зверям отец —
А и ходит он под землею,
А не держут его горы каменны,
А и те-та реки быстрыя;
Когда выдет он из сырой земли,
А и ищет он сопровитника,
А и того ли люта льва-зверя!
Сошлись оне со львом во чистом поле,
Начали оне, звери, драться:
Охота им царями быть,
Над всеми зверями взять большину,
И дерутся оне о своей большине.⁷

Наивно полагать, что человеческое сознание не различало причин и следствий и всей системы логических соотношений, выражаемых подчинительными конструкциями, лишь на основании того, что они не отражались в письменных текстах. Неразличение этих категорий сделало бы невозможной практическую ориентацию человека в окружающем его каждодневном мире. Естественнее предположить, что эти отношения не отражались в текстах потому, что письменные тексты по своей природе не должны были их отражать.

Сферой подчинительных конструкций (вернее, стоящих за ними логических отношений) была устная речь. Правда, вероятнее всего, ту функцию, которую в привычных нам сообщениях играют подчинительные союзы, в этом случае выполняли жесты и мимика, эмфатическая интонация. На следующем этапе культурного движения, когда человеческие деяния, эксцессы современности стали казаться достойными внесения в коллективную память и история сделалась содержанием текстов, возникла потребность письменной фиксации устного повествования. Тут обнаружилась необходимость найти в письменной речи адекватные для жестового выражения связи. Так возникли относительно поздние подчинительные конструкции — результат отображения многоканальной устной речи в одноканальности письменной.

5.0 Взаимоотношения устной и письменной речи усложняются, как только мы переходим к сфере искусства. Здесь можно было бы выделить два принципиальных этапа: 1). Господство графической словесной культуры, в рамках которой разговорная речь воссоздается средствами письменной; доминирует здесь художественная литература. 2). Господство искусств, возникающих на основе техники, дающей возможность фиксировать

⁷ Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.—Л., 1958, с. 274.

устную речь как таковую во всей ее многоканальной реальности (кино). Возникает возможность создания культуры на принципиально иной основе. Однако данный вопрос уже выходит за рамки настоящей статьи.

О РЕКОНСТРУКЦИИ УСТНОЙ РЕЧИ ИЗ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

(КРУЖКОВАЯ РЕЧЬ И ДОМАШНЯЯ ЛИТЕРАТУРА В ПУШКИНСКУЮ ЭПОХУ)

И. А. Паперно

Устная речь — как система с особыми принципами построения — представляет собой явление культуры, принадлежащее и к истории языка, и, в определенные периоды, к истории литературы. Так в России начала XIX века, в эпоху слияния литературы и литературного быта, образование литературного языка шло под знаком включения в него нормы разговорности, устного употребления, а искусство беседы, *causerie*, сделалось фактом культуры в той же мере, в какой им стали письменные тексты домашней, бытовой литературы: дневники, мемуары, письма, альбомы и проч. В эту эпоху повышенной семиотичности литературного быта кружок, салон, дружеское литературное общество стали обычной формой существования культуры (достаточно вспомнить хотя бы «Дружеское литературное общество», кружок Оленина, «Зеленую лампу», «Арзамас», «Беседу»). В дружеских литературных кружках начала XIX столетия культивировались не только письменные, но и устные формы художественной речи, причем, как публичное говорение (например, арзамасские речи, выступления на заседаниях «Дружеского литературного общества» и проч.), так и частное, спонтанное, существующее, в основном, в диалогической форме.¹ Возник своеобразный культ кружковой речи, «дружеских врак», домашнего языка, с особой семантикой, понятной только «своим». Интимность этого своего языка в «Зеленой лампе» и «Арзамасе», а позже в пушкинском кругу середины 20-х — 30-х годов, подчеркивалась рискованной

¹ О формах существования устной речи см.: О. Б. Сиротинина. Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974, с. 16, 17; О. А. Лаптева. Устно-разговорная разновидность современного русского литературного языка и другие его компоненты. — В кн.: Вопросы стилистики, вып. 8. Саратов, 1974, с. 94, 95.

тематикой, сквернословием, непристойностями, которые стали приметой этого языка. Устная речь оказалась маркированной в системе культуры.

Между тем, в то время как письменные тексты этого времени известны и активно изучаются, устная речь осталась за пределами исследования. Это вполне понятно — изучение устной речи прошлого затруднено тем, что тексты (для эпохи до изобретения магнитных записей) в первоначальном их виде не сохранились. **История устной речи** как отрасль лингвистики (и литературоведения) вынуждена извлекать материал путем реконструкции устной речи из письменных источников, т. е. из текстов, по структуре своей принципиально отличных от текстов устной речи. Выработка принципов такой реконструкции — первая и наиболее важная задача новой отрасли филологии. Неоднократно показывалось, что художественная литература, даже при передаче прямой речи персонажей, не занимается документальной фиксацией устной речи, она преломляет ее по законам художественного повествования. Как справедливо заметил В. Д. Левин, существует предел всякого отражения в литературе устной речи, даже при имитации устности.² Итак, из художественной литературы непосредственно извлекать факты устного говорения — нельзя.

В бытовой, документальной литературе устная речь при передаче ее в письменной форме тоже деформируется, но в текстах без установки на художественность эта деформация носит более регулярный характер. Кроме того, многие жанры бытовой литературы сближают с устной речью некоторые общие структурные принципы.

Шуточные стихи, стихи на случай, эпиграммы — рассчитаны на узкий круг и знание конкретных ситуаций, лишены эксплицитности выражения, необходимой для стационарной художественной речи. Письмо по языку строится на бытовом, устном

² См. В. Д. Левин. Литературный язык и художественное повествование. — В кн.: Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971, с. 9—96, где значительное место уделено проблеме отражения устной речи в письменных текстах. По этому вопросу см. также К. Кожевникова. Спонтанная устная речь в эпической прозе. Прага, 1971. Образец анализа прямой речи персонажей романа, приводящего к некоторым выводам о структуре устной речи как таковой (автора интересует проблема психологических мотивировок реплик в диалоге) дан в книге: Л. Я. Гинзбург. О психологической прозе. Л., 1971, с. 347—402. Однако несмотря на все достижения в этой области, по-прежнему появляются статьи, в которых прямая речь в художественном произведении грубо приравнивается к устной речи — см., например, в сборнике «Теория и практика лингвистического описания разговорной речи», седьмой выпуск, ч. I, Горький, 1976 // статьи Ю. Ю. Аваллани «О роли разговорной речи в художественном произведении» /с. 3—8/, О. С. Ахмановой, В. В. Кулешова, Е. С. Долецкой «Разговорная речь и ее отражение в художественной литературе» /с. 20—28/ и другие. Особенно часто так поступают исследователи иностранной устной речи.

словоупотреблении, а по структуре имитирует разговор и разговорность: оно отличается исконной диалогичностью, обязательным структурированием собеседника. Переписка как целостный текст делит с устной речью такие структурные принципы, как принципиальная открытость текста (возможность подвизывания все новых и новых писем) и преодоление линейности (письма вкладываются друг в друга, образуют парадигмы), обязательность канала коммуникации, дополнительного к вербальному (почерк³).⁴

Материал, наиболее удобный для реконструкции устной речи, дают эпохи с эстетизированным бытовым поведением (следовательно, с отмеченной устной речью) — кроме пушкинской эпохи, таковой является домашняя культура второй половины XIX века, культура предсимволизма с ее особым языком, в котором «свои словечки и привычки, / над всем чужим — всегда кавычки...» (А. Блок)⁵. Р. Д. Тименчик прямо указывает на возможность частичной реконструкции устной речи эпохи акмеизма, начала XX века: «цеховые разговоры, разумеется, невозможны /.../, но общность ряда мотивов в поэзии разных участников Цеха поэтов может приблизительно указывать на их проблематику.»⁶

В нашу задачу входит реконструкция некоторых элементов **словаря, семантики, словообразования** устной речи пушкинского круга. В отдельных случаях можно восстановить **интонацию, структуру разговоров**. Очевидно, невозможным — синтаксис устной речи. Первый этап такой реконструкции — выделение из группы текстов бытовой литературы, принадлежащих одному кругу авторов, **мотивов**: языковых единиц (кружковых наименований, домашних терминов, индивидуальных идиом, эфемизмов, способов обыгрывания реалий и событий и проч.) регулярно встречающихся, кочующих из текста в текст нередко на протяжении десятилетий. Приведем несколько примеров.

³ Небрежный почерк как средство создания иллюзии непринужденности, по-видимому, входит в поэтику дружеского письма пушкинского круга. Пушкин даже ввел специальный термин — «каракульки». В устной речи этому соответствует особая интонация интимности.

⁴ См. И. А. Паперно. Переписка как вид текста. Структура письма. — В кн.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам 1 /5/, Тарту, 1974, с. 214—215; И. А. Паперно. Переписка Пушкина как целостный текст. — В кн.: *Studia metrica et poetica*, вып. 2, Тарту, 1977. См. также С. Умрихина. Заметки об эпистолярном стиле Пушкина. — В кн.: Alexander Puškin. A Symposium on the 175th Anniversary of His Birth. New-York, 1976, с. 135—152, эта статья рассматривает проявление интонации и, отчасти, ритма устной речи в эпистолярном стиле Пушкина.

⁵ См. З. Г. Минц. Из рукописного наследия Вл. Соловьева — поэта. — Труды по русской и славянской филологии, вып. XXIV. Тарту, 1975, с. 378.

⁶ Р. Д. Тименчик. Заметки об акмеизме. — *Russian Literature*, 1974, № 7/8, с. 32.

1819 году, поздравляя Александра Тургенева с получением камергерского звания, Вяземский писал ему: «Любезный родственник, поэт и камергер! Ты смешон, что за ключ сердишься /.../ Римское правительство давало венки на голову; наше венчает ж...»⁷. Вяземский, во-первых, цитирует стихотворение Василия Львовича Пушкина «К П. Н. Приклонскому»:

Любезный родственник, поэт и камергер,
Пожалуй на досуге
Похлопочи о друге!
Ты знаешь мой манер...

Во-вторых, он обыгрывает получение камергерского звания, с атрибутом его — золотым ключом на бедре — как увенчание зада. То же самое стихотворение процитирует через много лет Пушкин в письме к Вяземскому по поводу получения им звания камергера, обыграв при этом камергерство «в том же ключе»:

Любезный Вяземский, поэт и камергер...
/Василий Львович узнал ли ты манер?
Так некогда письмо он начал к камергеру,
Украшенну ключем за Верность и за Веру/.
Так солнце и на нас взглянуло из-за туч!
На заднице твоей сияет тот же ключ.
Ура! Хвала и честь поэту-камергеру —
Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру.»⁸

(1831 г.)

Повторное обыгрывание камергерского ключа тянет за собой все ассоциации первоначального контекста: и стихотворение Василия Львовича, и формулу «украшение зада». Причем Пушкин указывает на цитатность своего стихотворения: «**тот же ключ**» (курсив наш — И. П.); Василий Львович назван прямо. Источник таким образом образует подтекст пушкинского стихотворения, Пушкин привлекает семантику контекста **в целом**. Этот слитный смысл закрепляется за «ключом» в речи пушкинского круга. Так Ф. Ф. Вигель, товарищ Пушкина, Тургенева, Вяземского по «Арзамасу», в письме к Пушкину в июне-июле 1831 года (активизировавшем, по-видимому, в сознании Пушкина эти формулы двенадцатилетней давности) писал по поводу камергерского ключа (по-французски): «... вы — поэт, и не обязаны служить, но почему бы вам не быть при дворе? Если лавровый венок украшает чело сына Аполлона, почему бы ключу не украсить зада потомка древнего и благородного рода?»⁹. Тема «поэт» вновь

⁹ А. С. Пушкин, т. 14, с. 434.

⁷ Остафьевский архив князей Вяземских, Спб., 1899, т. I, с. 200.

⁸ А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. М.—Л., 1937—1950, т. 14, с. 207.

поставлена рядом с темой «камергер», а знак камергерства — ключ обыгрывается точно так же: как украшение зада, к тому же, как и в первом случае, противопоставленное венку. Камергерский ключ обыгрывается таким же образом в эпиграмме на Уварова, приписываемой Пушкину, — «Рукой тирана дерзновенной». В «Бове» намек на королей, которые «почивали с камергерами», дает дополнительный оттенок этому мотиву. В этом контексте проявляется двусмысленность введения этой темы Вигелем, репутация которого была хорошо известна Пушкину и его друзьям (см., например, стихотворение Пушкина «Из письма к Вигелю» 1823 года и запись в Дневнике 1834 года). В свою очередь, на этом фоне двусмысленным представляется пушкинское: «поздравь княгиню Веру»: срабатывает память контекста. Рифма «Веру — Веру» подчеркивает каламбурность формулы «за Верность и за Веру» (девиз ордена Андрея Первозванного) в применении к Вяземскому, жену которого звали Вера (ср. «Анна на шее» Чехова). Мотив ключа очень устойчив в бытовой литературе этого круга, так в первый раз он зафиксирован в 1819 году, затем дважды всплывает в 1831, а потом еще раз в 1834. Вяземский переправляет Пушкину письмо, которое он получил от И. П. Мятлева, и приписывает к нему: «К тому же Мятлев

*Любезный родственник, поэт и камер-гер,
А ты ему родня, поэт и камер-юнкер.
Мы выпьем у него Шампанского и клункер,
И будут нам стихи на матерный манер».*¹⁰

Вяземский в приписке уговаривает Пушкина принять приглашение Мятлева на обед, он мотивирует это тем, что Мятлев «свой», «родственник», как знак его принадлежности к кружку выступает использование кружкового термина, цитатность которого подчеркнута курсивом (курсив Вяземского) — Вяземский отсылает к источнику, вернее, к источникам употребления этой фразы. Итак, Мятлев определяется на языке кружка, а на его обеде стихи (обед посвящен крестинам стихов Мятлева) переложатся на «матерный манер», т. е. говорить можно будет на своем, интимном языке (во-первых, раскованная лексика — знак интимности, во-вторых, эти слова — тоже цитата домашнего употребления: ср. «Василья Львовича узнал ли ты манер?»), «на свой манер».

Число примеров сквозных мотивов можно умножить. Так, в переписке этого же круга лета и осени 1831 года тема вдохновения, творческой активности постоянно обыгрывается в терминах «поэтического поноса». 27 июля 1831 года Вяземский пишет Пушкину: «Скажи Жучку-Датской собаке¹¹, что я получил его письмо

¹⁰ А. С. Пушкин, т. 15, с. 152.

¹¹ Имеется в виду Жуковский.

об ... и оплеванное и порадовался этим чисто арзамасским испражнениям.»¹² Пушкин подхватывает формулу и использует ее в письме к Вяземскому от 19 августа: «У Жуковского понос поэтический хотя и прекратился, однако ж он все еще гекзаметрами».¹³ В письме от 3 сентября он вновь повторяет: «Жуковский все еще пишет; завел 6 тетрадей и разом начал 6 стихотворений; так его и несет /.../ Я начал так же ...; на днях испроизился сказкой в тысяча стихов; другая в брюхе бурчит. А все холера ...»¹⁴. 13 сентября Вяземский пишет Плетневу: «Холера имела, сказывают, благодетельное действие над Жуковским и проломила его стихотворческий запор».¹⁵ В переписке лета 1831 года, времени холерной эпидемии, такое обыгрывание связано с привычкой все осмыслять через холеру, над этой привычкой иронизируют корреспонденты, привязывая к специфическим симптомам болезни и свою творческую активность. Однако этим частота появления этого мотива все же не объясняется — та же формула встречается в переписке и шуточных стихах этого круга и раньше, вне всякой связи с холерой. Например, в шуточном стихотворении, приложенном к письму Пушкина Вяземскому от 7 ноября 1825 года, из Михайловского:

В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю — сижу орлом
И болен праздностью поносной.
Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас
И только за большою нуждой.
Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос:
Хвостова он напоминает,
Отца зубастых голубей,
И дух мой снова позоывает
Ко испражнению прежних дней.¹⁶

Эта стихотворная шутка — весьма характерное явление кружковой литературной игры: здесь и специфическая кружковая фразеология, и интимная непристойность, и элемент самопародии, и популярная в кружке тема насмешек над Хвостовым. Причем

¹² А. С. Пушкин, т. 14, с. 199.

¹³ Там же, с. 208.

¹⁴ Там же, с. 220.

¹⁵ Известия отд. русского языка и словесности Академии Наук, 1897, кн. 2, с. 98.

¹⁶ А. С. Пушкин, т. 13, с. 239.

это стихотворение дает нам одну из фиксаций коллективного употребления формулы «поэтического поноса», а не первоначальный источник ее, потому что та же фразеология встречается и раньше, еще в феврале 1820 года. Вяземский приписывает на своем письме к А. И. Тургеневу из Варшавы, обращаясь к Пушкину: «Поздравь, мой милый Сверчок, приятеля своего NN с счастливым испражнением барельефов пиров Гомера, которые так долго лежали у него на желудке».¹⁷ (NN — Катенин. Вяземский просит Пушкина поздравить Катенина со статьей, в которой, как и в более поздней эпиграмме, он обыгрывал ошибку, допущенную Вяземским в статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова»: Вяземский перевел «relief» как «барельефы», вместо того, чтобы взять архаическое значение «мясные остатки».) Ту же формулу «испражнения» применяет Пушкин и в ответном письме к Вяземскому, причем, в связи с тематикой пира она оказывается, как и в случае с холерой, весьма кстати, но эта внешняя мотивировка не объясняет сквозное использование в кружке, на протяжении 11 лет (а «ключ» циркулирует в течение 15 лет), одного мотива. Вполне возможно, кроме того, что мы выловили не все случаи его употребления. Совершенно ясно, однако, что сквозные мотивы прошивают домашнюю литературу определенного круга, на протяжении многих лет проходят сквозь бытовые тексты, диалогически соотнесенные (письма, шуточные стихотворные послания и проч.), так, что собеседники перекидываются ими, словно мячиком, они возникают вновь и вновь вне связи со внешними мотивировками. Каков же источник таких кочевых формул?

Мы знаем, что среди пушкинских корреспондентов принято было пускать письма по рукам, так что они циркулировали в кружке, словно газета, и могли быть известны всему кругу друзей. Но могли ли таким образом отрывки из них цитироваться корреспондентами в письмах, написанных позже, как цитируют независимо друг от друга фразы, восходящие в общему литературному источнику? Нам представляется, что нет. Во-первых, общий литературный источник (текст художественной литературы, к которому, быть может, восходят некоторые из кочевых цитат, или бытовой — письмо, шуточное стихотворение) не объясняет регулярного, сквозного цитирования, во-вторых, едва ли память о таком источнике могла существовать в сознании людей на протяжении многих лет, в-третьих, один общий источник невозможен потому, что, как мы видели в случае с «ключом», смысл такой сквозной формулы постепенно накапливается от употребления к употреблению, т. е. каждое новое употребление как будто учитывает **все** предшествующие контексты. И наконец, эти формулы, значение которых строго индивидуально, интимно, употреб-

¹⁷ А. С. Пушкин, т. 13, с. 12.

ляются внутри кружка с полной уверенностью, что адресат поймет их смысл, и поймет правильно. Объяснение может быть только одно — такие сквозные мотивы, кочующие цитаты, и в том случае, когда они восходят к какому-то литературному тексту, и тогда, когда их первоначальное происхождение установить не удастся, — являются фактами обиходного употребления, т. е. исходят из **разговоров, каждодневной речевой практики дружеского кружка, из привычного домашнего словоупотребления — из устной речи.**

В отдельных случаях это подтверждается свидетельствами мемуаристов, современников, самих носителей этой речи.

В. Э. Вацуро¹⁸ проследил судьбу двух таких «крылатых слов», циркулировавших в пушкинском кругу. Одно из них — «побежденная трудность» («difficulté vaincue») восходит к Вольтеру и через кружок Карамзина, где это было обиходным выражением, попадает к Пушкину (как показал В. Э. Вацуро, Пушкин любил заимствовать там речения), который использовал формулу в статье, а от него — тоже в разговоре — формула переходит к Розену. Письма Пушкина и Розена, и воспоминания Розена зафиксировали этот факт устного словоупотребления. Характерно, что, по свидетельству Розена, формула использовалась как по-русски, так и по-французски, в зависимости от контекста и ситуации. В самом деле, мы знаем, что реальная устная речь образованного общества в начале XIX века в России строилась как двуязычная, русско-французская, эта двуязычность вошла в число структурных принципов устного говорения и снабжала речь дополнительными возможностями.¹⁹

Другая сквозная формула — «войдите в мое положение!», по свидетельству Вяземского, сообщившего даже манеру ее произнесения («голос значительно возвысить на слоге «же»»), тоже бытовала в кружке Карамзина, автором ее, как явствует из письма Плетнева, был, вероятно, Пушкин, а затем она попала и в «большую» литературу, всплыв в «Журналисте, читателе и писателе» Лермонтова:

Войдите в наше положение!
Читает нас и низший круг;
Нагая резкость выраженья
Не всякий оскорбляет слух;
Приличья, вкус — все так условно;
А деньги все ведь платят ровно!!!

¹⁸ В. Э. Вацуро. Из разысканий о Пушкине, § 2, 3. — В кн.: *Временник пушкинской комиссии* 1972, Л., 1974, с. 104—106. Автор пользовался не только статьями, но и устными советами и замечаниями В. Э. Вацуро и искренне ему признателен.

¹⁹ См. И. А. Паперно. О двуязычной переписке пушкинской эпохи, — «Уч. зап. Тартуского гос. ун-та». Труды по русской и славянской филологии, вып. XXIV, Тарту, 1975, с. 148—156.

Эта реминисценция, носящая отпечаток литературно-бытовой среды, имеет для Лермонтова, как заметил В. Э. Вацуро, особый смысл: «она, конечно, рассчитана на узнавание и на определенное интонирование, как об этом пишет Вяземский. По-видимому, она читалась с жалобно-просительной интонацией, с особым эмфатическим подчеркиванием фразы, и тем самым получила дополнительные смысловые акценты».²⁰

Таким образом, представляется возможным уточнить, в чем смысл цитаты из устной речи в письменном тексте, в художественной литературе: смысл не в стилистическом переключении, общем и для письменной, и для устной речи, не во введении «разговорности» как стилистической приметы разговорной речи, ибо «нагая резкость выраженья» — не признак устного употребления, «приличья, вкус», литературный этикет — условны. Смысл цитирования устного употребления в семантическом переключении, во введении принципиально иной семантики, иного типа образования смысла. Цитата, рассчитанная на узнавание, несет за собой память контекста, ту особую семантику устного употребления, образовавшуюся в процессе обращения формулы в дружеском кругу, в образование которого входят и характеристики, не доступные письменной речи, в данном случае — мелодические. Цитата из устной речи обогащает возможности письменного текста.²¹

Но для нас важнее другой аспект анализа сквозных мотивов — цитат из устной речи — в письменном тексте: возможность использования его для частичной реконструкции словаря устной речи этого круга и некоторых принципов ее построения. Какого рода единицы составляют словарь устной речи (вернее, его дополнительную часть, избыточную по отношению к общезыковому словарю)? Каковы принципы номинации в устной речи? Что такое «ключ», «позитический понос», «побежденная трудность», «войдите в мое положение»?

Это своего рода мифологемы, продукты семантической конденсации,²² за ними стоит целый свернутый сюжет, ситуация, знакомая и памятная кругу говорящих. Такие слова, интегрированный смысл которых неразрывно спаян с ситуацией, называются именами ситуации.²³ Смысл образуется здесь подобно тому, как образуется смысл идиомы: синкретически, как нерегулярный,

²⁰ В. Э. Вацуро, с. 106.

²¹ В. Д. Левин замечает, что «разговорность в письменной бытовой практике [...] ощущается не как таковая..., а как «художественность», и что «даже в дружеском письме употребление фактов разговорной речи ощущается как элемент искусства» (В. Д. Левин, с. 44).

²² Этот термин, введенный А. В. Исаченко, нами заимствован из книги «Русская разговорная речь», М., 1973, с. 408.

²³ См. «Русская разговорная речь», с. 436.

единичный смысл, хотя и выраженный в регулярной языковой форме. Словарь устной речи кружка — это, в значительной степени, словарь, состоящий из единиц с нерегулярным смыслом, из **собственных имен ситуаций**.

С большой очевидностью принцип номинации проявляется в кружковой номинации людей: обычное имя заменяется, как правило, прозвищем, т. е. именем, мотивированным ситуативно (биографией или свойствами носителя имени). Все арзамасцы носили прозвища, взятые из баллад Жуковского, и тянувшие за собой ассоциации, связанные с этими образами. Но на этом процесс переименования часто не останавливался: поверх одного мотивированного имени присваивалось другое, непосредственно связанное с ситуацией, в которой побывал носитель. Таково происхождение прозвища «Датская собака», которое Жуковский (арзамасская кличка — Светлана) получил летом 1831 года. Так называет Жуковского Вяземский в письме к Пушкину от 27 июля 1831 года: «Скажи Жучку-Датской собаке...». Историю и этимологию этого имени комментируют письма. Летом 1831 года Вяземский пишет Жуковскому (без даты): «... Что Пушкин? То-то у тебя слюнки текут, глядя на жену его. И Пушкин уже успел жениться, а ты все еще нет!»²⁴ Жуковский отвечает (конец июля): «... Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто. С тех пор как ты сказал мне, что у меня слюнки текут, глядя на жену его, я не могу себя иначе и вообразить, как под видом большой старой датской собаки, которая сидит и дремлет, глядя, как перед нею едят очень вкусно и с морды ее по обеим сторонам висят две длинные ленты из слюней».²⁵ Вяземский пустил в оборот это имя, мотивированное конкретным фактом, отношениями, их обсуждением. Третье имя (Жучок), видоизменяющее подлинную фамилию Жуковского, тоже построено на усилении мотивированности, оно оживляет утраченную внутреннюю форму фамилии («жук»).

Одновременно с этим в кружковой речи происходит переосмысление собственного имени (в традиционном смысле): собственное имя рассматривается как мотивированное и получает вторичное осмысление как нарицательное имя, смысл которого синкретически описывает ситуацию, с которой у говорящих ассоциируется носитель этого имени. Так использовалось в языке пушкинского круга имя Кюхельбекера, от которого было даже произведено наречие («кюхельбекерно»), наделенное определенным смыслом. Посмотрим как образовался его смысл.

Наречие канонизировано Пушкиным в эпиграмме, написанной около 1819 года:

²⁴ Русский архив, 1900, кн. I, с. 361.

²⁵ Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу, М., 1895, с. 255—256.

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И **кюхельбекерно** и тошно.

(Эта эпиграмма будто бы послужила причиной дуэли между Пушкиным и Кюхельбекером.) Эпиграмма написана от лица Жуковского: Яков — слуга Жуковского, на непосредственный источник ее указывает В. И. Даль в «Записке о дуэлях Пушкина». По словам Даля, Жуковский однажды, объясняя, почему он не пришел на званый вечер, сказал: «Я еще накануне расстроил себе желудок; к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома».²⁶ Слова Жуковского рассмешили Пушкина, случайное «к тому же», соединившее два явления, не имеющие внутренней связи, Пушкин переосмыслил шутливо как указатель причинно-следственной связи, фамилия Кюхельбекера приобрела значение, связанное с нездоровьем. (Психологическая мотивировка оговорок Жуковского понятна: Кюхельбекер, как и другие молодые лицейские поэты, постоянно надоедал ему своими стихами, производившими, отчасти, комическое впечатление.) Кроме того, значение, приписанное Пушкиным корню «кюхельбекер», восходит и к лицейской песне, пародирующей, в свою очередь, популярный романс Ю. А. Нелединского-Мелецкого «Ох! Тошно мне на чужой стороне»:

Ах! Тошно мне
На чужой скамье!
Все не мило,
Все постыло,
Кюхельбекера там нет! и проч.

(Об этом пишет В. П. Гаевский.)²⁷

Соседство имени Кюхельбекера с наречием «тошно» закрепило для Пушкина связь значений придав этой связи характер пародийной регулярности, а также подсказало и грамматическую форму нового слова: наречную. Новое слово вошло в речевую практику кружка, по словам Даля, «выражение **мне Кюхельбекерно** сделалось поговоркою во всем кружке»²⁸, оно вошло в словарь кружковой речи со значением «нехорошо, тошно». Письма Пушкина зафиксировали этот факт устного словоупотребления. Он пользуется словом в письме к брату Льву от 30 января 1823 года: «Я ведь тебе писал, что Кюхельбекерно мне, на чужой стороне, А где Кюхе?»²⁹ Здесь наречие кюхельбекерно постав-

²⁶ Русский архив, 1866, с. 1161—1162.

²⁷ «Современник», 1863, т. 97, с. 149.

²⁸ Русский архив, 1866, с. 1162.

²⁹ А. С. Пушкин, т. 13, с. 56.

лено в цитату из Нелединского-Мелецкого, вместо слова «тошно», — указан первоначальный источник слова, а то, что оно прямо заменяет наречие «тошно», указывает на его значение. Непосредственный переход к вопросу о самом Кюхельбекере в этом письме (как и в других) показывает, что этимология слова, связь значения «кюхельбекерно» со «значением» собственного имени Кюхельбекера, еще жива в кружковой языковой памяти. Не случайно имя именно Кюхельбекера получило такое вторичное осмысление, мотивировку: образ его вызывал представление о человеке, постоянно попадавшем в нелепые, неловкие, болезненные положения. В том же значении слово употребляется в письме Пушкина к Вяземскому от 24—25 июня 1824 года, из Одессы: «По твоим письмам к княгине Вере, вижу, что тебе и кюхельбекерно и тошно».³⁰ (Слово это вновь непосредственно связано с воспоминанием о самом носителе имени: в письмах к жене в Одессу Вяземский неоднократно просил ее хлопотать о Кюхельбекере). В письме к Жуковскому от 17 августа 1825 года Пушкин даже отбрасывает вторую часть формулы-цитаты, помогавшую опознать цитату и вспомнить значение наречия, — очевидно, он счел значение вполне установившимся: «только здесь мне кюхельбекерно», — писал он из Михайловского.³¹

Это наречие настолько прочно вошло в речевой обиход, что даже послужило для Пушкина словообразовательной моделью. В письме Гнедичу от 27 июня 1822 года из Кишинева он пишет: «Здесь у нас **молдованно** и тошно; ах, боже мой, что-то с ним делается — судьба его меня беспокоит до крайности — напишите мне об нем, если будете отвечать.»³² Смысл фразы «здесь у нас молдованно и тошно» образуется с включением значения подтекста: «тошно мне на чужой стороне», и полностью формулируется примерно так: «здесь, в Молдавии, на чужой стороне, мне тошно». «Он» — конечно, Кюхельбекер, т. е. «тошно» — означает «Кюхельбекер» так же, как «Кюхельбекерно» означает «тошно». Это позволяет ввести в значение первоначальной фразы дополнительный смысловой оттенок: «мне тошно, как, боюсь, тошно Кюхельбекеру».

В семантике устной кружковой речи граница между единичным, нерегулярным значением и значением общеязыковым — стирается, собственное имя и имя нарицательное сливаются в некую новую языковую единицу, смысл которой интегрируется в процессе накопления памяти контекстов употребления. Каждое новое употребление дополняет смысл, каждый контекст инкорпорируется в общую память ситуации, и если один контекст употребления метонимически зацепляет какой-то другой — он

³⁰ А. С. Пушкин, т. 13, с. 99.

³¹ Там же, т. 13, с. 211.

³² Там же, с. 40.

тоже включается в общий смысл, оттенки смысла притягиваются с разных сторон в единое смысловое пятно.

Такой механизм образования смысла, принципиально иной, чем в письменной речи, обуславливает и определенные принципы построения устной речи. Одним из таких принципов, как показывает наш материал, является **цитатность**. Цитатность устной речи кружка — естественное следствие того, что словарь ее состоит из знаков, отсылающих к набору ситуаций, общих для коллектива говорящих. Любая коммуникативная система базируется на существовании общей памяти, закрепляющей значение языковых единиц. Значение общей памяти в устной речи (в особенности, в диалогической) резко возрастает: не располагая способами четкой фиксации текстов, устная речь слабее структурирована, каждый новый текст не имеет эксплицитных структурных связей с другими. (Л. Якубинский писал об «общей апперцепционной массе» как обязательном условии диалога.)³³ Цитатность в устной речи — это отсылки к общей памяти, конкретизированной и консолидированной в общем цитатном фонде: круге реальных биографических ситуаций и литературных источников, наборе контекстов.³⁴ Кружковая речь пользуется цитатностью в многообразных и нетривиальных ее формах именно потому, что цитатность — как структурный принцип дает особый механизм образования смысла, присущий устной речи как таковой; в речевой практике кружка неизменно процветают намеки (отсылки к конкретным событиям и фактам), литературные реминисценции и обыгрывание бытовых ситуаций через литературные (отсылки к конкретным литературным источникам), стилизация (отсылка к определенной стилистической позиции), иноязычия (отсылки к иной языковой системе) и проч. Все эти приемы неизбежно придают устной речи кружка ореол художественности. Однако смысл их не в этом, а во введении особого типа семантики, семантики устной речи, частным и наиболее очевидным случаем которой является кружковая речь.

³³ См. Л. П. Якубинский. О диалогической речи. — В кн.: Русская речь, I. Пг. 1923, с. 96—194.

³⁴ Любопытно сравнить этот механизм с принципом цитирования в «Евгении Онегине» Пушкина как его понимает Ю. М. Лотман: смысл цитирования заключается в «структурировании собеседника», т. е. в определении объема и состава общей памяти читателя и автора. См. Ю. М. Лотман. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Тарту, 1975, с. 37—38.

ОГЛАВЛЕНИЕ

М. А. Шелякин. О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке	3
А. Д. Дуличенко. Очерки по общей и русской лингвонимике 1. К мета-языку лингвистики: лингвонимы как особый класс терминов . . .	23
П. С. Сигалов. О соотношении деривата, словосочетания и предложения	53
Б. М. Гаспаров. Устная речь как семиотический объект	63
Ю. М. Лотман. Устная речь в историко-культурной перспективе . . .	113
И. А. Паперно. О реконструкции устной речи из письменных источников (кружковая речь и домашняя литература в пушкинскую эпоху)	122

Ученые записки Тартуского государственного университета. Выпуск 442. СЕМАНТИКА
НОМИНАЦИИ И СЕМИОТИКА УСТНОЙ РЕЧИ. Лингвистическая семантика и семиоти-
ка I. На русском языке. Тартуский государственный университет. ЭССР, г. Тарту, ул. Юли-
кооли, 18. Ответственный редактор М. А. Шелякин. Корректор Н. Н. Чикалова.
Сдано в набор 15 VII 1977. Подписано к печати 8 XII 1977. Бумага печатная № 160×90^{1/16}.
Печ. листов 8,5. Учетно-изд. листов 9,42. Тираж 800. МВ-07348. Зак. № 3675. Типография
им. Х. Хейдеманна, 17/19. I.

Цена 1 руб. 40 коп.

Цена 1 руб. 40 коп.

TU RAAMATUKOGU



1 0300 00290528 1